

84(27=632.1) 6-4

У435

Борис Укачин

Схожие
характеры

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач.

3 ТМО Т. 3.600.000 З. 3184—90

БИБЛИОТЕКА
ЭЭР "АЛТАЙ"

БОРИС
УКАЧИН

Схожие характеры

РАССКАЗЫ

Перевод с алтайского

г. Горно-Алтайск, 2001

82-828-2

84(2Рос=АлТ)6-4
У 435

2

Печатается под девизом:

**«ЭКОЛОГИЯ ЭТНОСА, ФЛОРЫ И ФАУНЫ
ГОРНОГО АЛТАЯ»**



Б. Калинин

552196 V V

Горно-Алтайская
областная библиотека
им. М. И. Калинина

5-УБЧ-СХ

МИР УДИВИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРОВ

«Я — горного кедра колючая ветка!» — эту, уже давно ставшую афоризмом, строчку из стихотворения Бориса Укачина, я думаю вспомнит любой читатель, который как-то соприкасался с творчеством поэта.

А в другом стихотворении поэта есть созвучные строки, но имеющие совершенно другую интонацию:

«Мы росли,
становились умней и взрослей,
И сближались народы, сближались края.
По соседству с твоею
«Звездю полей»
«Ветка горного кедра»
качалась моя...»

А называется это стихотворение: «Письмо Николаю Рубцову». Да, тому Николаю Рубцову, одному из самых знаменитых российских, особо почитаемых мной и любимых поэтов, стихи которого отличаются исключительно проникновенной лиричностью.

И мне невольно хочется их воспринимать как близких по духу, не потому, что они в одно время учились в Московском Литературном институте им. А.М. Горького, а потому как пишет Александр Макаров: «Укачин — поэт оригинального, ярко выраженного таланта. Определяющей чертой его личного дара является способность говорить о высоком нравственном бытии не общими понятиями, а живыми образами, чувствуя и понимая драматизм жизни, любить эту жизнь в ее движении, в настоящей ее красоте».

Этот небольшой сборник рассказов выходит в канун шестидесятилетия писателя. Но юбилейным его никак невозможно назвать, поскольку в него вошла лишь небольшая часть созданных им произведений.

За всю литературно-творческую деятельность писателем было издано более сорока книг прозы и поэзии, которые издавались в разное время в Москве, Бишкеке, Алматы, Новосибирске, Барнауле и многих других городах России и СНГ.

Многие его произведения включались в различные антологии, альманахи и переведены на многие языки народов мира. Есть они и в учебниках для национальных школ республики.

О творческих достижениях юбиляра отзывались такие мастера художественного слова, как Кайсын Кулиев, Зульфия, Сергей Михалков, Михаил Дудин, Борис Слуцкий...

Книги Б.У. Укачина «Ветка горного кедра», «Земля синего неба», «Горные духи», «Бег аргамака», «Эхо вечного Алтая», «До смерти еще далеко», «Убить бы мне голод» — это далеко не полный перечень произведений, пользующихся широкой известностью.

Хочется верить, что и этот небольшой сборник рассказов оставит равнодушными многих и многих читателей, поклонников таланта писателя.

В них тоже — нежная любовь к красоте нашей горной страны, удивительный мир характеров своих земляков и друзей, дух независимости, как отличительная черта его личности.

**Э. Бабрашев,
директор Горно-Алтайской
республиканской типографии**

СХОЖИЕ ХАРАКТЕРЫ

Два рассказа

Две голубые жилы бугрятся на теле Горного Алтая. Два кровеносных сосуда. Это — Катунь-река и Чуйский тракт, стремительные, как стрела богатыря Сартакпая.

Едешь трактом, то огигая, то пересекая Катунь, то рядом с нею, и кажется будто непременно кого-то хочешь догнать, будто там, впереди, кто-то ждет, кто-то кличет тебя.

Дорога на то и дорога, для того и строили ее, чтобы соединять людей, чтобы встречались и узнавали они друг друга.

Без дороги, особенно без Чуйского тракта, в Горном Алтае, считай, и журналиста нет! Какие без дороги встречи?..



1. Жена Ачимая

В селе Малая Иня, где тракт проходит по самому краю высоких обрывистых бо-мов, недалеко от тех мест, где Чуя и Ар-гут впадают в Катунь, познакомился я с Ачимаем Айдаровым, очень любопытным человеком. Тако-го, как с ним случилось, наверняка в наших краях до того не бывало, а может, и вообще не будет никогда.

Перед тем, как я с ним повстречался, у него самого была встреча. Удивительная встреча! В горах, на сумрачном пе-ревале.

Но лучше я все-таки расскажу по порядку и начну с того, как я попал в контору совхозной фермы. Ведь если бы не задание редакции, которую интересовал именно этот сов-хоз, не быть бы мне в тот день в селе Малая Иня и не знать, что есть на свете такой человек, Ачимай Айдаров.

Ветреный осенний день. Рыжим пламенем мечутся по узким и глубоким логом дерева, швыряя охапками лоскуты огня — багровые, перегоревшие листья.

Летом тут по-другому. Летом, да в ведро, голые, безлесные горы и сопки, стоящие караулом вокруг села, над зелеными логом кажутся раскаленными от жары и солнца. Сейчас красноватые скалы, постепенно остыв под шальными ветрами, стали уныло бледно-серыми. С далеких вершин таких же бледных и пасмурных гор, а может, из самой глубины бездонного неба накатывает порывистый ветер, пробирая насквозь и овраги и долины.

В селе безлюдно и тихо. Где-то жалобно и грустно мычит теленок, которому еще неизвестны ни эти ветры, ни лютые холода совсем близкой зимы. Испуганно жмутся друг к другу деревянные избы, словно маленькие иззябшие дети, не знающие, куда им спрятаться от пронизывающего до костей сквозняка. Только новая контора совхозной фермы высится над селом, богатырски подбоченясь: «Ну, чего ты бесишься, осень?..»

И меня основательно просвистало ветром.

Захожу в контору. Стучу в дверь, на которой золотыми буквами по узенькой полоске стекла — «Управляющий». Никто не отзывается. Кабинет заперт. В комнате напротив сухо пощелкивают костяшки счетов.

Не обращая на меня никакого внимания, чуть склонив высокую модную прическу, создание которой было бы совершенно невозможно без сарлычьего хвоста, молодая женщина сосредоточенно что-то подсчитывает и красным карандашом вписывает цифры в большой разграфленный лист, разложенный перед нею.

— Здравствуйте...

Женщина оторвалась от бумаги, вскинула свое высокое сооружение из искусно взбитых густых волос и взглянула на меня необыкновенно черными глазами.

— Здравствуйте, — отозвалась она и, опустив глаза, сказала смущенно:

— Думала, наши бездельники шлются, работать мешают... Извините...

— Мне нужен управляющий.

— Управа нет. В Онгудай с отчетом уехал. — Она окинула меня изучающим взглядом с ног до головы, потом с головы до ног и спросила: — А вы кто будете?

— Я из газеты.

— А-аа, — разочарованно протянула женщина. — Опять приехали торбокам хвосты считать...—Она утратила ко мне всякий интерес, но тем не менее сочла возможным холодно повторить: — Управа нет и сегодня не будет. Он в Онгудай.

Длинные пальцы ее забегали по счетам, ловко отщелкивая десятки, сотни, тысячи... Колыхнулась ее высокая прическа, склонившись к левому плечу, и женщина забыв о моем существовании, уже проставляла те же десятки, сотни и тысячи на разграфленном листе.

— А где ваш парторг?

— Парторг?— Она не сразу подняла голову и как будто даже удивилась, что я все еще тут. — Он тоже уехал в Онгудай. Вместе с управом.

Вот невезенье!

— Может, вы скажете, где мне найти зоотехника или ветеринарного врача...

— Интересный народ эти газетчики! — В голосе ее слышалось нескрываемое раздражение. — Подавай им обязательно управа, парторга... Неужели вам не надоедает разговаривать с одними начальниками?! — Женщина с искренним удивлением пожала худенькими плечиками.

Мне почему-то стало неловко, что я докучаю ей своими ничемными вопросами, и захотелось тут же уйти, исчезнуть, только бы не видеть ее больших насмешливых черных глаз. Но уйти я не мог, потому что женщина продолжала поносить нас, газетчиков.

— Вот и пишут, вот и пишут!.. Торбоки да овцы! Надой да настриг! Шерсть да мясо! Хвосты да головы! Цифры, цифры; штрафы... Неужели ничего интереснее на свете нет? — Она выпалила все это на одном дыхании и словно осеклась. Снова смерила меня взглядом с ног до головы. Щеки ее вспыхнули румянцем. Я подумал, что ее смутила собствен-

ная горячность. Ничего подобного! — Теперь вам, конечно, понадобится агроном. Да? Я не ошиблась? А вообще-то цифрами и я могу вас снабдить. У меня их сколько хотите! — Ее рука щедро отщелкнула целую гроздь костяшек на счетах.

Я молчал. И стоять перед нею было уже невозможно, и ударить невозможно, потому что она не закрывала рта.

— Неужели журналисты думают, что план выполняет только начальство? Неужели нет ничего на свете, кроме плана? Неужели на всем белом свете перевелись интересные люди? Да вы у нас их можете найти сколько угодно!

Она бы долго еще отчитывала меня, если б я, озлившись, не прервал ее:

— А вы возьмите да покажите мне этих ваших интересных людей!

— И покажу! — весело ответила она. — Думаете, не покажу? Хоть Ачимая нашего, например. Вот уж про что люди наверняка читать будут. Забавно!

На ее тонких губах плясала улыбка. Улыбалась даже маленькая родинка на щеке.

— Кто он такой, ваш Ачимай? Что в нем забавного?

— Ачимай-то? Нет-нет, он не передовой чабан. И даже не табунщик, который спас от волков совхозных коней. Ачимай — тракторист. Но гектары и центнеры тут тоже ни при чем... Да чего я буду про него рассказывать. Идите к нему сами. Дом его я вам покажу.

Мы вышли из конторы. Она остановилась в дверях и кивком показала в сторону речки Малая Инюшка.

— Во-он дом Ачимая. С новой шиферной крышей. Там, куда она показывала, стояло несколько совершенно одинаковых новых стандартных домов. Отличить среди них дом какого-то Ачимая мне, приезжему, было не так уж просто. Заметив мою растерянность, женщина не без ехидства уточнила:

— Неужели не видите? Да вон же! Прямо на вас смотрит. Дверь у него не покрашена.

Она скрылась в конторе, а я направился к дому незнакомого мне человека.

По-прежнему дул упругий холодный осенний ветер. По дороге несло листья и клочья бумаги. Куда-то спешила Маленькая Инюшка, словно надеялась где-то отыскать еще не посохшую зеленую травку. Мелкие кудрявые волны, толкаясь, переливаясь, прыгали с камня на камень.

«Чем же он «забавен», этот Ачимай? Что он мне скажет?» — думал я, уже жалея, что, как говорится, завелся с ходу. Отступать, однако, было поздно. Наверняка женщина из конторы поглядывала сейчас в окошко.

Возле дома с новой шиферной крышей и некрашеной дверью меня встретила громким лаем огромная, с годовалого теленка собака. Она металась на длинной цепи, гремя кольцом, скользившим по толстой проволоке, вскидываясь на задние лапы, рычала, обнажая белые клыки.

Вышел хозяин. Маленький и, как мне сперва показалось, даже немного скрюченный, похожий на высохшую кедровую шишку. Он остановился возле своего черного пса и проткнул меня острыми, как иголки, маленькими глазками. Не больно проткнул — иголки оказались мягкими, словно хвоинки. Догадавшись, что я пришел именно к нему, он, как и подобает гостеприимному алтайцу, приветливо сказал:

— Проходите. Не бойтесь. Она не тронет.

Ему было лет сорок. А может, и больше. Когда мы здоровались, он протянул мне короткую, как колотушка, руку с такими же короткими и крепкими пальцами, насквозь пропитанными тракторной смазкой и как бы покрытыми тонкой пленкой металла.

Полы в доме, некрашенные, как и дверь, были вымыты и выскоблены до блеска. Справа от входа возвышался тяжелый шифоньер коричневого цвета. На противоположной стороне дремала громоздкая русская печь. Рядом с нею, приткнувшись к стене, стоял рукомойник «Мойдодыр».

— Садитесь, — Ачимай придвинул табуретку. — Снимайте пальто, если не спешите. У нас тепло...

У них было тепло, даже очень тепло. Когда я, сняв и повесив пальто, уселся на предложенный мне стул, Ачимай по обычаю произнес:

— У оленя на голове рога, у человека — имя... Я представился.

— Ясно, — сказал он.

Что ему было ясно, я так и не понял, но тут же вспомнил женщину из конторы, пославшую меня сюда, и подумал, что и здесь меня ждет то же самое — сейчас хозяин примется ругать журналистов.

— Значит, из газеты,— повторил Ачимай и опять слегка посверлил меня маленькими острыми глазками, и еще раз сказал:— Ясно...

Тут я решил схитрить, опередить его, и, как только мог, непринужденно и весело спросил:

— Говорят, с вами случилась какая-та забавная история?

— Уже успели набрехать! — подмигнул Ачимай и рассмеялся. — Роза, конечно...

На душе у меня полегчало: стало быть, я попал в точку. Но цель моего прихода сюда так и оставалась загадкой.

— Мне о вас в конторе говорили.

— Так и знал! Роза у нас такая — палец в рот не клади.

Тряся округлыми плечами, он беззвучно и долго смеялся. Потом перевел дух и снова хитро, как мальчишка подмигнул.

— Ясно! Нашелся для корреспондента хлебушек, а? — и протянул пачку «Беломора». — Курите.

— Правду говорят: «Крылышки у сплетни быстрее, чем у иноходца бег!» — Из дальней комнаты к нам вышла жена Ачимая, такая же маленькая, кругленькая, востроглазая, приветливая. — Совсем недавно случилось, а уже в Горном люди знают! Надо же!

Она улыбнулась, сверкнув овечьими зубами. Брови — подковками, как у молодого месяца. Типичная красавица алтайских деревень, не нашего, правда, времени. Про таких пели наши отцы: «Зачем ты появилась, Луна, когда на свете и без тебя есть Лунолика». Теперь изменилось понятие о женской красоте, и никто не стал бы слагать песни в честь жены Ачимая. Теперь образцом красоты скорее может быть та, с модной прической, что послала меня сюда.

— Они не в Горном слышали, — сказал Ачимай. — Им в конторе наболтали. Роза... Конторщикам-то что? У них вся работа на языке да на бумаге...

Не то сердито, не то весело — не поймешь — он начал меня расспрашивать:

— Поди, зубоскалила, что, мол, Ачимай сроду из ружья-то не стрелял и вдруг гаечным ключом хозяина тайги пришиб?

Жена его поставила передо мной пиалу с чаем.

— Верно говорят, что язык без костей. Брехуны! Мне-то что. Если вам про это интересно — расскажу. Фамилия-то моя Айдаров. По-русски сказать, получается Разговоров...

— В самом деле ключом медведя убили? Не может быть! Шутите!

— Убить-то убил,— мягко вставила жена. — Только не хорошо получилось...

— Опять она за свое! — посуровел Ачимай и, словно голова была у него на подшипниках, крутанул ее в мою сторону. — Вот, смотрите, перед вами стоит мать моих детей. Она, видите ли, недовольна, что я остался живой и невредимый!..

— Не шуткуй ты, Ачимай, не шуткуй, пожалста,— прервала его жена и, округлив глаза, обратилась ко мне, как бы призывая меня в свидетели: — Я ему сто раз об одном и том говорила!

— И никто с тобой не согласится! — В голосе Ачимая слышалось раздражение. — Ник-то!

— Нет, вы послушайте. Вы скажите, кто из нас прав? — продолжала «мать его детей». — Я ему что толкую? Нельзя, говорю, не надо было живое существо, тем более медведя — хозяина всей тайги, — так мучить. Разве можно сто раз молотить по голове тракторным ключом такого страшного и такого уважаемого всеми охотниками зверя?!

Тут Ачимай даже подпрыгнул, как крышка с закипевшего чайника.

— Вот,—сказал он,— любуйтесь.— В голосе его не было ни намек на юмор, он говорил горячо, почти сердито: — Не понимаю, чего ты от меня хочешь! Не я же первым полез!

— Нет,— запротестовала жена. — Жестокий ты человек. Душой чувствую. Вот словами объяснить не могу... Ладно, — махнула она такой же короткой, как у Ачимая, рукой и улыбнулась. — Говори, рассказывай. Только шибко не хвались.

Ачимай весело дымил папиросой.

— Скажи трактору спасибо. Если бы не трактор, спал бы твой Ачимай вечным сном.

Всегда мне почему-то кажется, что у любых мужа и жены много общего. Так, видно, и есть. Привыкают люди за годы совместной жизни держаться, говорить одинаково, даже характеры у них постепенно становятся близкими. И Айдаровы не составляли исключения. Нет, не внешнее сходство поразило меня. Была у жены Ачимая та же лукавая улыбочка, те же мягкие, как хвоя у кедра, иголки в глазах. Она быстро перекачивалась от печки к столу и обратно.

— Откушайте у нас. И чай пейте. Чай не пьешь — какая сила!

— Мне сперва показалось, человек на дороге стоит. В шубе, наизнанку вывернутой, — начал Ачимай. — Пасмурно было. И под вечер уже. Ну, думаю, голосует кто-то. Дело ясное — дождь со снегом. Пастух, наверно. Взял да вывернул шубу, чтобы не испортить. Шерсть-то быстро просохнет...

— И я бы так подумала, — мягко согласилась жена. — Трактор-то крадучись не ходит. Тарахтит так — земля трясется. Какой зверь, если сказать, на трактор пойдет? А он, медведь-то твой, на дороге стоял?

Ачимай пренебрег подсказкой жены.

— Меня с этой осени возчиком назначили, — пояснил он, будто совсем о другом решил говорить. — Таскаю на своем «ДТ» сено для совхозной скотины.

Тут он разворчался, что вблизи села плохо растет трава, повыгорела вся, что кругом камни одни, и ему, трактористу, приходится теперь черт-те откуда возить сено. Ближний путь — в горы, через перевал переть!

Я не перебивал его, и Ачимай постепенно стал сворачивать на нужную мне колею, рассказал, как и в тот день отправился за сеном, как поднялся на Яйлагушскую седловину, где уже было белым-бело.

— Снега на вершок, а то на два навалило...

Похлопав короткими руками по карманам брюк, он нащупал спички и закурил. Несколько раз глубоко затянулся и, глянув на меня сквозь густой дым, спросил:

— Вы в Яйлагушской долине бывали?

Я отрицательно помотал головой.

— Ясно, — сказал он. — Хотя бы разок следовало. Особенно летом. В Кадринских хребтах, например. Вот где бо-

гатство! Красивое место. Надо тебе кедровый орех — бери. Надо золотой корень — враг всех болезней! — сколько хочешь. А зверя, зверя... И рысь тебе, и соболю, и снежный барс, и марал золоторогий — все там. Чистый рай! Пастухам — праздник. Травы какие сочные!..

— Хватит, однако, Ачимай, — перебила его жена. — Человек тебя не про травы спрашивать пришел. Ему интересно, как ты медведя своим гаечным ключом...

— Брось ты этот ключ! Корреспонденту все должно быть интересно, — назидательно произнес хозяин, подмигнул и два-три раза шумно отхлебнул чай из пиалы. — Про медведя так про медведя... Значит, поднялся я на седловину. Снег там. И дождь моросит. Погодка! Смотрю: человек на дороге. Надо подвезти. Хотел ему дверцу открыть... Нет, не человек! Прет на меня, зубы скалит, лапищей намахивается... Я еще не соображу никак, а тут впереди что-то дзинь, и фара одна погасла.

Что делать? Чую, волосы сами кепку поднимают, спину не то огнем палит, не то морозом обдает... Трактор трясется, и рычит. Медведь ревет... — Ачимай рассмеялся и смахнул слезинку. — Тут я догадался. Крутанул свой «ДТ». Куда ему, думаю, против трактора? Слышу, стонет под гусеницами. А как же? Считай, на него целая гора навалилась. Железо! Как бы он силен ни был, медведь, а у моего трактора силенок побольше. Схватил я ключ, прыг на землю и давай лупить его по башке. Вот таким манером и прикончил зверя всех зверей...

— И-та-тай! — не то испуганно, не то безразлично воскликнула его жена. — Вот с этим я и не соглашусь никак. Ох, как нехорошо!

— Ну чего ты, в самом деле! Что мне было делать?

Я попытался притушить разгоравшееся пламя спора между супругами.

— А как он на дороге оказался, медведь?

— Видно, раненый был. А такой хоть против кого поперет. Ясно!

Ачимай вышел в коридор и приволок большую, еще не выделанную медвежью шкуру, серебристо-бурую, с острыми и крепкими когтями на широченных лапах.

Расставив короткие ноги, тракторист молча, в десятый, а может, и в сотый раз рассматривал свою неожиданную добычу. Он покачал лысеющей головой:

— Вот сила, а? Если бы не трактор...

Тут отворилась дверь, и в дом впорхнула та самая женщина из конторы, что направила меня сюда. Она вошла, не постучавшись. Впрочем, в наших горах в дом ли, в аил входят без разрешения. Стучать — не наш обычай.

Ее появление почему-то встревожило меня.

— Вот и ваша Роза пожаловала! — весело воскликнул Ачимай, явно подчеркнув слово «ваша».

— Следом за вами, — улыбнулась она мне ярко накрашенными губами, увидела в руках Ачимая медвежью шкуру и захлопала в ладоши. — Вот это да! Вот это красота!

Она как-то «культурно» присела, опасливо сжав остренькие коленки и без того стиснутые короткой и узкой юбкой, чуть подалась вперед и стала гладить растопыренными пальцами шкуру.

— Какая прелесть! Какие мягкие шерстинки!..

— Перестань, Роза! — нахмурилась жена Ачимая. — Нельзя ласкать убитого зверя. Не полагается.

— Почему это не по-ла-га-ет-ся? — удивленно протянула Роза и выпрямилась. — По старым обычаям действительно все не по-ла-га-ет-ся, а по-нашему...

— Не будем спорить, — вступился за жену Ачимай. — Лучше садись чай пить.

Бойкая гостья и не подумала умолкнуть.

— Твой Ачимай, — качнула она своей прической на хозяина, — не настоящий охотник. Это настоящие охотники придерживаются разных там запретов... А ему что? Он же больше на медведя не пойдет.

— Правильно говоришь, — согласилась жена тракториста. — Зачем ему ходить? И все равно нельзя. Я считаю, не надо с мертвым играть. Мертвый есть мертвый. Его уважать надо. И бояться.

— Зачем же бояться? — скривила губки Роза. — А вы знаете; почему я пришла?

— Наверно, со свежим человеком поговорить, — стрельнул одним глазом в мою сторону Ачимай.

— Мне журналистов-журавчиков не надо. Его дело вас.

расспросить, а потом известить всех читателей, и меня в том числе, об интереснейшем событии в жизни села Малая Иня, вас, Ачимай, хвалить за мужество.

— Какое тут мужество? — всплеснула руками жена Ачимая. — трусости больше чем мужества.

— Как! — закричал Ачимай. — Вы мне скажите, почему она считает, что я поступил неправильно? Во-первых, если на то пошло, не я этого медведя ранил, а кто-то другой. Во-вторых, не я на него напал, а он полез. Что же мне, по-твоему, надо было выйти на дорогу из трактора и врукопашную с ним бороться?

— А хотя бы и так, — стояла на своем жена. — Вот это была бы честная борьба. И победа честная. И я смогу, и Роза сможет добить железякой зверя, когда его уже трактор при-давил. Разве не так? Хоть бы его ножом, что ли...

Роза хохотала, запрокинув голову.

Ачимай подхватил шкуру и поволок ее в коридор.

— Подождите! — остановила его Роза. — Подождите. Дайте мне отдышаться. Вот смех-то!.. Не пойму я тебя, Нина. Слышала я, что ты такую глупость говоришь, и не поверила. Какая ты все же суеверная! Десятилетку кончала а рассуждаешь...

Жена Ачимая (я только теперь узнал, что ее зовут Ниной) покраснела, а Роза продолжала отчитывать ее.

— Нельзя гладить шкуру! Нельзя ласкать убитого зверя! Нельзя бить медведя по голове! Нельзя, нельзя, нельзя!.. Откуда у тебя все это? А если бы этот зверь задушил, за-давил, растерзал, съел твоего Ачимая?

— Замолчи! — впервые не сдержалась и крикнула в сердцах жена тракториста. — Замолчи, Роза. Душа у тебя, как чешуя у рыбы.

Роза не рассердилась. Она повела своими худенькими плечиками и снова расхохоталась, да так, что дыхание у нее перехватило.

— Чистая язычница! Из породы святых ярлыкчи! — еле выговаривала она сквозь приступы смеха.

Ачимай в растерянности стоял, держа в руках шкуру медведя. Выйти — нельзя. Дверь загородила Роза, прислонясь к косяку и шатаясь от хохота. Нести шкуру в другую комнату он не решался, видимо, считаясь с женою,

— Не пойму, — произнес он, — из-за чего весь этот сыр-бор?

— Вот именно! — перевела дух Роза. — Давай, Нина, не будем зря спорить.

Не было больше в глазах хозяйки милого лукавства и доброты.

— Знаешь что, — сказала она. — Никогда вершины двух гор друг к другу не приблизятся. Так и мы... Разные мы с тобой люди. Понимаешь? Тебе этого не втолковать. Вот Ачимай мой почему упирается?..

— Да чего тут... — забормотал тракторист. — Ясно. Ты хочешь сказать, что у тебя есть жалость к животным, что ты к природе относишься... А у меня, по-твоему, душа каменная, что ли? Если хочешь, скажу, не скрою, хвастать-то нечем... Ну, что я его ключом... Вот и все тут... Ясное дело.

— Давно бы тебе со мной согласиться, — примирительно произнесла жена. — А душа у тебя есть. Мягкий ты человек. Добрый. Только со страху растерялся, не знал, что и делать. И медведя убил не ловкостью, не хитростью, а страхом.

— Ясно, мать моих детей! — снова развеселился Ачимай и стал опять приглашать Розу к столу, но та наотрез отказалась, заявив, что у нее много дел и что забежала она на минутку.

— Ладно. Гостя я долго не задержу. Он еще зайдет в контору.

— Я же сказала, не нужен мне журавчик! Сама его к вам послала. Ушел он, а я испугалась... Вот и побежала к вам.

— Чего испугалась-то? Думала, я и его, как медведя? — Ачимай продолжал шутить.

— Выйдем, Ачимай, — вдруг сказала Роза и, приоткрыв дверь, выскользнула в коридор.

Хозяин повел игольчатыми глазами на жену, на меня, склонил набок голову, как бы соображая, чего от него понадобилось этой языкастой моднице из конторы, произнес свое любимое «Ясно!» и тоже скрылся за дверью. Вернулся он быстро, смеясь и приговаривая:

— Шкуру ей уступить! Ишь чего захотела! Ишь какая ловкая!..

Оказывается, Роза и вправду испугалась, когда кинулась из конторы к Ачимаю. Испугалась, что я куплю у тракториста медвежью шкуру! А ей надо какой-то городской подружке подарок сделать!

Тут пришла пора смеяться Нине, Ачимаевой жене:

— Ясно, — сказала она, не подозревая, что в точности копирует мужа. — Ясно, какая там у нее подружка. Это называется: «Я — тебе, ты — мне». Я тебе медвежью шкуру, козий пух, а ты мне — модные сапожки. Я тебе сарлычий хвост на шиньон, а ты мне импортные очки... Мы этим сарлычьим хвостом пол подметаем!

У порога в самом деле лежал хвост сарлыка, прибитый к деревянному черенку.

— Какая она фальшивая, Роза, — с сожалением произнесла хозяйка. — Все у нее будто поддельное. Даже родинка — своя, а фальшивая!.. Как вы думаете? — обратилась она ко мне. — Хоть он и зверь, но нельзя над ним издеваться. Правда же?

Я уклонился от прямого ответа. Промямлил что-то невнятное. Дескать, сразу не скажешь...

— Ясно, — выручил меня Ачимай и попросил, чтобы я ничего не писал про всю эту историю.

Случай, происшедший с трактористом из Малой Ини, был, что называется, из ряда вон. Но не прошло и года, как довелось мне услышать еще одну историю. Почти такую же невероятную. И я невольно вспомнил Ачимая и его жену и, нарушив данное слово, но изменив имена, взялся за перо.



552196



2. Артур, сын Кырмалди

Было это в моей родной деревне Кайру. Она хоть и далеко от Малой Ини, но тоже на обочине дороги встреч, Чуйского тракта, и мне изредка удается завернуть в нее, повидаться с земляками и близкими.

Случай, который жег мою память, в самом деле редчайший. Хотите верьте, хотите нет. И даже немало удивившее меня приключение с Ачимаем Айдаровым показалось уже не таким исключительным.

Не шибко далеко от деревни находится долина Ак-Сас — Белое Болото будет по-русски, хотя никакого болота, ни белого, ни черного, там нет и в помине. В этой долине всегда зимуют колхозные табуны. Вокруг — горы, заступающие путь любым ветрам, и Ак-Сас не напрасно считают самой укромной и уютной долиной в округе. Для табунщика же Кырмалди Боскоева Белое Болото, как говорится, место постоянной прописки, второй дом.

Где какое дерево растет и куда оно наклонено, в каком логу сколько сурков водится, в общем все, что к Ак-Сас имеет хоть какое-нибудь отношение, Кырмалди назубок знает. Деревенские про него как говорят? Нет в долине ни одного дерева, под которым бы он не ночевал. Нет колышка, к которому бы он не привязывал своего коня.

Впрочем, к случаю, о котором мне хочется рассказать, Кырмалди прямого отношения не имеет. Почему же я говорю о нем? Приходится! Дело в том, что у Кырмалди есть сын, которого зовут Артуром.

Стоял месяц курана, самца дикой козули, — ноябрь. В горах уже выпал снег, а в школах начались каникулы. Этих каникул никто так не ждал, как Артур Боскоев, четырнадцатилетний сын табунщика Кырмалди из деревни Кайру. Он, однако, с первого сентября уже начал считать, когда начнутся каникулы. Вы только не подумайте, что Артур — плохой ученик, что ему лень было заниматься. Ничего подобного! Ему очень нравилось в областной национальной школе, и он

отличник и активист, но чем меньше дней оставалось до конца четверти, тем сильнее было его нетерпение. Он бы, кажется, прямо с последнего урока, сразу после звонка, не заходя в интернат, каким-нибудь чудом перенесся из города домой, в Кайру. А вернее даже не в Кайру, а в долину Ак-Сас, где отец пасет колхозных коней. Не очень-то он соскучился по материнской ласке, и к отцу его неудержимо тянет главным образом потому, что как раз в дни осенних каникул начинается пора большой охоты.

Кырмалди своих детей с малых лет воспитывал как настоящих мужчин — учил ездить верхом на коне, учил метко стрелять из ружья.

— Родился мужиком — учись стрелять, — не уставал повторять Кырмалди Боскоев. — У настоящего мужчины должны быть две вещи: хорошее ружье и добрый конь. Запомни, сынок: ружье — защита от беды, конь — крылья и гордость мужчины.

Сам Кырмалди не расстаётся со старой-престарой кырлу — нарезной кремневкой, перешедшей к нему по наследству, а сыну, Артуру, тозовку подарил. Ну, о конях и говорить нечего. Разве может быть плохой конь у табунщика?

Надо сказать еще, что у Кырмалди ко всему свой особый подход. По натуре он очень бережливый человек. Нет-нет, вовсе не скупой. Именно — бережливый. Своего коня, например, он до снега на длинном аркане держит и сена ни клочка ему не дает.

— Сено зимой пригодится, — говорит Кырмалди. — Пока на земле трава есть, пускай тебенюет.

И до наступления больших холодов, пока земля не промерзла, начинает он там и тут вбивать колышки, где погуще и не так потоптана трава, где зимой будет привязывать коня.

Артур во всем старался походить на отца. Ему с отцом всегда было хорошо, и мальчик учился жить и быть настоящим мужчиной, настоящим алтайцем.

Приехав из города домой, Артур всю ночь почти не спал и наутро отправился к отцу, в Ак-Сас. Он уже представлял, как выглядит сейчас долина — белая-белая от снега, а на снегу следы, следы... Он видел, будто перед глазами, шустрых большехвостых белок, слышал ржание коней, далекий топот копыт... Ах, как он спешил!

А дня через два или через три по Кайру пошел довольно странный и, если можно так сказать, не вполне достоверный разговор:

— Слышали? Говорят, Артур, сын Кырмалди Боскоева, убил мадялая!

Суеверные алтайцы никогда прежде медведя медведем не называли, чтобы беды на себя не накликасть. Суеверных сейчас в деревне меньше, чем медведей в тайге, а привычка живет. Мадялай — это иносказательно, но все равно значит «медведь».

Из дома в дом пошло:

— Артур мадялая-то перочинным ножом убил!

Неслыханная новость! Люди не знали, верить или не верить. Ну в самом деле, может ли такое быть? Ладно бы про самого Кырмалди говорили, куда ни шло, а то болтают про четырнадцатилетнего мальчишку, ученика седьмого класса, у которого еще молоко на губах не обсохло.

Все-таки падки мои земляки, кайрунцы, на всякие байки! С ума они все, что ли, спятили? Зима на носу, вот-вот большие холода грянут. Медведь свое время не хуже человека знает. Ему спать пора, медведю. За лето жира накопил и — в берлогу. А тут...

Надо же! Артур убил медведя. Да еще как убил перочинным ножом! Вот брехуны! Что с них возьмешь? Не зря про болтунов говорят: «Языком дерева не срубишь».

Что бы, однако, ни говорили, а все, как оказалось, было именно так. Убил ведь Артур медведя! Я сам у Боскоевых медвежьим мясом лакомился.

...Утро ясное. Прихватив тозовку, Артур вышел из избышки табунщика. А избышка у Кырмалди чуть побольше курятника, который у них в деревне. Снега еще малость подвалило. Лежал он в долине, чистый и свежий, как страница новой тетради. Неподалеку от стоянки возвышалась покрытая густыми ветвистыми кедрами гора Сокоёк — Танцующая на одной ноге, если на русский перевести. К этой горе и направлялся Артур. Он и в прошлом году на ней белковал. Места ему знакомые.

У зверей не как у людей — каникулы кончились. Вон сколько на снежных страницах пооставляли клякс-следов! Тут горностаи пробежал... Здесь лиса мышковала... Там белка прыгала... Куда же она спряталась, хвостатая? Сидит, на-

верно, где-нибудь среди зеленых пушистых веток и щелкает орешки. Артур тихо уселся под кедром и стал поглядывать вверх, отыскивая в густых зарослях хитрую белочку. Рядом с ним что-то треснуло. Артур все еще таращил глаза на вершину кедра. Треск повторился, совсем близко. Мальчишка глянул... Шагах в десяти от него, если не меньше, стоял медведь! Стоял и смотрел в упор, словно узнавал и не узнавал его.

Что делать?

Глазки у медведя были маленькие, какие-то бесцветные, точно и не глаза вовсе, а стекляшки, как у игрушечных мишат, которыми Артур давным-давно перестал забавляться.

Если бежать — догонит.

Они глядели друг на друга. Медведь стоял на задних лапах. Мальчик сидел под деревом.

Артур тихонько шевельнулся. Медведь, заметив, тоже переступил с лапы на лапу.

«Ружье — защита от беды!» — вспомнил Артур наставление отца и покосился на свою тозовку. Не очень-то надежная защита от такой беды, как медведь...

«Будь что будет», — решил мальчик и вскинул винтовку. Тозовка тряслась в его руках, как тоненькая ветка на ветру.

«Ружье — защита от беды!» — упрямо твердил он про себя.

Прицелился и выстрелил в медведя. Между глаз.

Медведь заревел и прыгнул к Артуру. Мальчик хотел отскочить в сторону, но поскользнулся и растянулся на снегу. Он успел все же несколько раз перекувырнуться, откатиться подальше, вскочить и спрятаться за деревом. Кедр, за которым он укрылся, совсем еще молодой и тонкий, не мог служить защитой. Медведь ринулся к нему и хватил что было силы по стволу когтистой лапой. Мальчик перебежал к другому кедру, потолще, и, почти не целясь, еще раз выстрелил. Зверь отмахнулся от пули, как от мухи, исчез на мгновение из виду и тут же, снова поднявшись на дыбы, швырнул в Артура здоровенной коряжиной, выдранной из земли. Артур успел выстрелить в третий раз, наугад, но, уворачиваясь от брошенной в него самой коряги, да и с перепугу, выронил тозовку, и она, скользнув гладкой ложей по снежному бугру, очутилась далеко от своего хозяина.

Медведь был теперь совсем рядом. Он дышал прямо в лицо. Их разделял метровый ствол кедра. Разъяренный зверь пытался схватить своего маленького противника, но не мог дотянуться, яростно пыхтел, и все более свирепел. Так они и кружили вокруг дерева. Сердце Артура колотилось часто-часто, отдаваясь каждым ударом в голове и сбивая мысли. Он все-таки вспомнил о складном ноже, который взял с собой, чтобы обдирать беличьи шкурки. Когда из-за кедра вновь высунулась половина медвежьей башки, мальчик, не задумываясь, ткнул ножом в глаз медведю. Тот взревел, зацепил парнишку лапой и опрокинул его в сугроб...

Больше Артур ничего не помнил. Ни того, как он вскочил на ноги, ни того, как очутился в избушке отца. Когда он очнулся, возле его изголовья сидел отец, гладил жесткой ладонью по лбу и успокаивающе приговаривал:

— Ничего, сынок... Ничего, балам... Все пройдет.

Это, как оказалось, было уже на третьи сутки.

А в тот день, когда сын почти без памяти примчался с горы, табунщик взял свою старенькую кырлу-кремневку, пули у которой не меньше большого пальца, и поехал по следу Артура. Добравшись до горы Сокоёк, Кырмалди не поверил своим глазам. Рядом с ветвистым кедром под снежным бугром лежал здоровенный черный медведь. Конь под седлом табунщика фыркал, становился на дыбы, шараясь от убитого зверя.

Снимая с медведя шкуру, Кырмалди отыскал у него пулю в голове. И остальные выстрелы оказались точными — угодили в брюхо зверю. А перочинный кож? Перочинный нож...

...Три или четыре года было Артуру. Рядом с их аилом в Кайру стоял тогда аил Бектреша, у которого был сын. Звали его Менди.

Как-то зимой, в ясный морозный день, когда далеко слышен каждый шорох, громко закудахтали куры соседей. Любопытный Артур тут же выскочил на улицу.

Смотрит, Менди вытащил из курятника белого петуха с большим алым гребнем на голове. Он был уже совсем взрослый, Менди, лет на десять старше Артура.

— Что ты будешь делать с петухом? — спросил Артур.

Петух отчаянно хлопал крыльями, стараясь вырваться из рук Менди, и испуганно квохтал.

— Что ты хочешь с ним делать? — снова спросил Артур.

— Как что?— удивленно вскинул голову Менди и, шмыгнув носом, направился туда, где они кололи дрова.

Артур не отставал от него, забегал то слева, то справа, крутился вокруг соседского мальчишки, как игривый щенок.

— Сейчас увидишь, что я с этим куриным жеребцом сделаю,— солидно произнес Менди и схватил топор.

Очень интересно! Хотя Артур и догадывался, что Менди собирается прикончить петуха, загадочность и степенность, с какими взрослый сосед готовился что-то совершить, только подстегивали любопытство.

Ловко ухватив в горсть ноги и крылья петуха, Менди шарил узкими глазами по сторонам, выбирая, на каком из бревен учинить казнь, где бы половчее улеглась петушина голова.

— Тебе мать велела, да?— не отставал Артур.

— Да!— сказал Менди и, одним ударом отхватив петуху голову с красивым алым гребнем, небрежно бросил «куриного жеребца» на землю. Безголовый петух бился, прыгал туда-сюда, туда-сюда, окропляя кровью свежевывавший снег. Он никак не хотел умирать, а Менди прыгал вокруг него и громко хохотал.

Артуру стало страшно. Он вдруг заметил, что глаза на отрубленной голове еще не умерли и смотрят, смотрят прямо на него.

Менди продолжал прыгать и хохотать.

— Сейчас еще увидишь! — крикнул он и побежал к курятнику. — Сейчас я рыжему жеребчику голову снесу! Артур с громким ревом помчался домой.

Он долго болел тогда. Ему все мерещился белый снег и скачущий по нему безголовый петух. Петушина голова с алым гребешком лежала рядом, возле толстого бревна, и подмигивала Артуру...

Сколько времени прошло! Артуру сейчас как раз столько, сколько было тогда Менди, — четырнадцать.

Почему сейчас вспомнилось ему это? Только закроет глаза, и опять видит прыгающего на длинных голенастых ногах белого петуха без головы.

Отец все сидел рядом с ним и гладил, гладил его густые жесткие черные волосы и приговаривал:

— Ничего, сынок... Ничего, балам... Ты молодец, не побоялся!

Артур медленно приоткрыл глаза,

— Папа, — он попытался приподняться. — Я медведю ножом в глаз попал, да?..

— Не промахнулся, балам!

— Как же я... — Артур побледнел. — Как я мог... Снова в затуманенной памяти его дико плясал на белом снегу безголовый петух. Кричали, просили о помощи бесцветные петушиные глаза. А он, Артур, безжалостно ткнул в них ножом...

В Горно-Алтайск, в школу. Артур возвратился с большим опозданием. И я специально ходил к нему, провести его.

— Все в порядке, — сказал он. — Пусть отец не беспокоится.

Выглядел мой маленький земляк, сын табунщика Кырмалди, здоровым и веселым, но в черных его глазах мелькали тени грусти.

— Мне пора... Звонок сейчас...

И тут у меня сорвался с языка тот самый вопрос, которого, вероятно, больше всего боялся мальчик.

— На зимние-то каникулы опять в Кайру, Артур? Может, еще одного шатуна-мадялая свалишь?

Он рванулся от меня, невысокий, плечистый, черноволосый мальчик. Оглянулся, сверкнул глазами и крикнул:

— Никогда больше не пойду на охоту! Слышите! Никогда!

До сих пор я казню себя за этот нелепый вопрос.

Я люблю выезжать по заданиям редакции в дальние села. Люблю Чуйский тракт. Я верю, что дорога обязательно порадует меня новыми встречами, приведет к интересным людям.

1971—1973 гг.





ЗАКОН ТАЙГИ

Давний выходец из деревни, я все реже бываю в родных местах. И все чаще замечаю, что многое там для меня становится чужим и непонятным. Умом сознаю: здесь, в Кайру, где я родился и рос, корни мои, начало всех начал. А душа нет-нет да и спотыкается об эти корни, больно ушибаясь... Говорят, время — лучший лекарь. Не знаю. Лично мне кажется, что время не лечит, а делает нас другими — только и всего. И я это особенно остро почувствовал и понял в свой последний приезд, прошлой осенью, когда вместе с другом детства Корбу Актеловым снова, как и много лет назад, ночевал в тайге под открытым небом. Ничто, казалось, не изменилось в этом прекрасном и вечном мире — те же горы загадочно темнели в ночи и те же кедры шумели под головой от малейшего ветерка, роняя вниз хвою и сухие ломкие ветки... А на душе отчего-то смутно и беспокойно, и я не могу понять — что же во мне происходит. Спальный мешок, в котором лежу, зашнурованный до подбородка, будто личинка в коконе, кажется тесным и неудобным. А раньше, бывало, когда мы с Корбу работали табунщиками, нередко ночевали в тайге — и никаких неудобств, никакого страха не испытывали, считали для себя это делом обычным. Расстелишь потник, седло под голову кинешь — и нет мягче постели! Однако время вспять не повернешь. Сейчас и седел-то алтайских, настоящих, с кошмяными потниками, редко увидишь. И пастухи нынешние да охотники, отправляясь в тайгу, прихватывают с собой матрацы, подушки пуховые да спальные мешки. Впрочем, друг мой, словно опровергая эти мысли, так и не раскрыл спальника, лежит, подстелив под себя одну полу необъятного своего тулупа, а другой полкой укрывшись, и ровно, с легким присвистом похрапывает. Только что мы с ним разговаривали — и вот он уже спит. А у меня сна — ни в одном глазу. Лежу, в небо уставившись. Снежные хлопья падают на лицо, кружатся над костром, как ночные бабочки, обжигаясь и

мгновенно истаивая... Горы придвинулись почти вплотную смутно выступая из тьмы, и близкие скалы кажутся задремавшими в ночи огромными птицами. Поворачиваю голову и смотрю на сладко похрапывающего Корбу. Какие сны ему снятся? Алтайцы говорят о крепко спящем: давно дошел до местечка Каратонеш, то есть до Черного пня... Мой друг, наверное, и дальше уже пошагал, такое безмятежно-спокойное и доброе у него лицо, багрово подсвеченное пламенем костра. И я, глядя на него, не могу понять: жалею своего друга так и прожившего всю жизнь в тайге, или завидую ему? Мы с ним ровесники, росли в одной деревне, на одной пастушеской стоянке, в пятнадцать лет стали заправскими табунщиками — и думали тогда, что лучшего занятия и нет на земле. Сегодня же, по правде сказать, нас ничто не связывает, кроме детских воспоминаний. И встречаемся мы редко, от случая к случаю. А ведь было время, когда мы с Корбу, как два сапога, и шагу друг без друга не делали. Учиться в город ездили вместе. Правда, той же осенью Корбу и домой, в Кайру, вернулся. И меня уговаривал: «Давай удерем. Ну ее, эту учебу! Кедровые орехи поспели, охота скоро откроется... — терзал мне душу. — Чем кислой интернатской капустой питаться, лучше молоко будем пить, белок стрелять да мясом лакомиться». Да я был готов тогда пешком вместе с Корбу отправиться — так потянуло домой, в горы, так захотелось по первому снежку на белок поохотиться! Или выбрать в табуне приглянувшегося коня и скакать на нем от стоянки к стоянке... Но я не мог этого сделать. Когда уезжал учиться в областную национальную школу, мама говорила мне: «Смотри, сынок, коли взялся за гуж — не говори, что не дюж. А то ведь я знаю тебя: настанет зима — и навестишь лыжи обратно. А мы единственного теленка продали, чтоб денег тебе на учебу достало. И такое запомни, на носу себе заруби, — прибавила строго, чуточку как бы и припугнув. — Коли вернешься потом в Кайру, не жди, что снова табунщиком тебя возьмут. Как ушей своих не увидишь такую хорошую работу, охотников — то на нее много найдется. Так что сразу решай». И я тогда маме сказал: «А я уже решил: буду учиться». Эх, если бы не эти слова, наверное, в ту осень, когда с городских тополей, как слезы, посыпались желтые листья, удрал бы я вместе с Корбу домой.

Но Корбу уехал, а я остался.

И вот через много лет мы снова рядом. Корбу Актелов, старый мой друг и вечный табунщик, сманил меня по первоснежью на охоту. Приехали мы сюда, в Ак-Сас, лишь к вечеру — и все главные события ждали нас завтра. Развели костер, поужинали и устроились на ночлег. Тайга вокруг, простор. А у меня такое чувство словно весь мир сузился до пределов крохотного таежного уголка, и мы с Корбу остались одни среди этих задумчиво-суровых гор и обманчиво-чуткой вселенской тишины — нет нигде на земле ни шумных городов, ни суетного многолюдья, ни грохота сверкающих огнями аэропортов, все как будто ушло отодвинулось в прошлое — и слава богу! А если по правде, то и вовсе я сейчас один. Корбу спит без задних ног, «давно уже добравшись до местечка Каратонеш», ему и горя мало, что я кручусь в своем тесном спальнике, глаз не смыкая...

Вдруг земля подо мной дрогнула, оглушительный гул прошел по горам, будто скалы вдребезги разнесло... И рев какого-то зверя совсем близко раздался, треск ломающихся кустов и сучьев. Корбу словно ветром подбросило, так он проворно вскочил, схватив ружье. Прогремел выстрел. Сильно запахло порохом и дымом. Потом все стихло. Только медленно и плавно падал снег. И стук собственного сердца показался мне запоздалым эхом, докатившимся с гор...

— Что случилось, Корбу? — спрашиваю. — Что это было? Корбу прислонил ружье к дереву и, присев на корточки, не спеша стал поправлять костер, сдвигая в кучу почерневшие головешки. Потом повернул ко мне спокойное скуластое лицо, шурясь от дыма, уши зимней шапки его заливхатски торчали в разные стороны.

— Да ничего не случилось, — сказал, наконец. — Ты как будто впервые в тайге. Чего трясешься? — засмеялся беззвучно. — Забыл разве, как мы тут с тобой, в этом же Ак-Сасе, лошадей когда-то пасли — и ничего не боялись?

Это верно. Было время, когда я чувствовал, себя тут хозяином — один мог переночевать в тайге, в горах не заблудиться, мог сесть на дикого, необъезженного трехлетка-жеребца и укротить его, приучить к седлу. Но когда это было? И со мной ли это было? Сегодня вон старый мерин, пока мы добирались до этого урочища, так меня умотал, что я, когда

мы приехали на место и спешились, ног под собой не чуял, словно деревянными они стали... Корбу подшучивал надо мной:

— Ты как будто с войны контуженный вернулся.

А что я мог сказать? Сам-то Корбу всю дорогу меня удивлял. Вдруг остановится, разглядывая следы на снегу, и объявит: маралуха прошла, а вот это следы волка... И в седле сидит, будто в кресле. Это ж действительно так: человек, всю жизнь проживший в тайге, как бы и сам становится ее частью — немножко деревом, чуточку камнем, ручьем, травой, слипаясь с ними и понимая их, как самого себя. А я, когда-то считавшийся добрым наездником, нынче и к самой смирной лошади подхожу с опаской — как бы не лягнула да кабы не укусила. И следы на снегу кажутся мне все одинаковыми. Разве я таким был? Если честно сказать, в те годы Корбу Актелов и не мог со мной тягаться — вожаком-то да заводилой во всех делах скорее был я, а не он. А сегодня, смотрю, все переменялось — и уже Корбу в тайге за поводыря. Хотя и обидно, а правде надо смотреть в глаза. «Конечно, если бы не уехал тогда в город учиться, — думаю, как бы оправдываясь перед самим собой, — и я сейчас не хуже Корбу сидел бы в седле и в следах разбирался...»

Корбу тем временем поправил костер, и он постепенно разгорелся, раздвинув темноту.

— Скажи, ты в кого стрелял? — подсел я к другу. Он, загадочно щурясь, посмеивался:

— А в белый свет, как в копеечку! — И вдруг спросил: — Ты помнишь, чтобы в наших местах водились снежные барсы?

— Нет, не помню.

— Ну вот! А сейчас их знаешь сколько развелось? Барсы ведь, как и всякие кошки, плодovиты, быстро размножаются. Но убивать их у нас нельзя — «красным» зверем считается, заповедные. Правильно, конечно, — согласился, но тут же и сомнение высказал: — Да нынче-то и не остается в тайге зверя, в которого запросто можно стрелять — чуть ли не все под запретом.

— Разве это плохо?

— Кто говорит, что плохо. Вся беда в том, что чаще-то эти запреты и нарушают те, кто их утверждает. Законы вро-

де бы и не для них писаны, — разволновался Корбу, вскочил, походил туда-сюда и снова опустился подле костра, сердито в нем палкой пошуровал. Пламя на миг притухло, стрельнув искрами, и занялось вскоре с новой силой. — И вооружены они, эти законники, как говорится, до зубов. И бьют напропалую, не разбирая, какой зверь на мушку попадет — «красный» или «белый». Слава богу, я здесь живу, работаю и глаза у меня еще хорошо видят...

— Видишь и молчишь? — уколол я его. Глаза Корбу блеснули и остро, как лезвия, сузились.

— А ты попробуй мочиться против ветра, — насмешливо посоветовал он. — Тогда посмотришь, что будет... Думаешь, я не пытался поначалу бороться? Еще как! Пытайся, — сказал он, пристраивая над костром давно остывший чайник. — Да только ничего путного из этого не вышло.

— Один раз не вышло, выйдет в другой раз, если рук не опускать, — возразил я. Корбу покивал, соглашаясь, и лицо его сделалось печальным.

— Прав ты, конечно. Но ты вот о чем подумай: в этой тайге каких только людей не бывает, особенно летом! Если куда на лошадях или машинах не могут добраться, так на крыльях прилетают — прямо с неба и на грешную землю... Прошлым летом был случай. Тогда я здесь же, в Ак-Сас, табун держал. Погода стояла сухая, жаркая. Меня разморило, помню, и я присел на камень отдохнуть. Едва глаза смежил, как что-то в горах, совсем близко, загрохотало. О, кудай бог! — думаю. Неужто гром с ясного неба? Голову в небо запрокинул, гляжу, а там вертолет, будто коршун, ходит кругами и все ниже, ниже опускается. Может, думаю, пожарники? Дак это хорошо, поскольку погода сухая, огонь может из ничего образоваться. Но тут вижу, как из вертолета, совсем низко опустившегося, ружейную пальбу открыли. А там как раз маралы на водопой пришли — вот они и лупят по ним сверху, не дают уйти. Гляжу, самец рухнул, как подкошенный. Они и целили, как я понял потом, в пантача. Кинулся я за конем, надеясь прихватить их на месте преступления. Да куда там! До озера не меньше трех километров. Это когда смотришь, кажется — рукой подать, а поедешь — полчаса надо потратить. Пока я добрался до озера, те коршуны успели приземлиться, отрубить у красавца-марала рога — и только их ви-

дели! Сильно я тогда расстроился. Даже в газету написал. Только зря старался, бумагу пестрил да время тратил. Письмо мое не напечатали. Надо, говорят, номер того вертолета указать. А мне тогда и в голову не приходило, чтобы тавро воздушного пирата на бумажку записывать или в памяти держать. Откуда он появился и куда улетел — не знаю. А газета как будто ко мне же и с претензией: доказательства нужны. А вот вы и доказывайте. Если хотите выяснить, так и раскручивайте дело, ищите, откуда и чей тот вертолет. Как будто у нас в Горном Алтае вертолетов этих не счесть!

— А число, когда это случилось, ты указал в письме?

— Все указал: и число, и день. Как сейчас, помню: двадцать седьмое июня было. Самое время панты-рога маралов снимать. Вот эти коршуны и налетают сверху, бьют из ружей... Думаешь, они одного пантача взяли? Вот и пиши на них, жалуйся. Да они, в случае чего, и по тебе откроют стрельбу, можешь не сомневаться. Для них нет ничего святого, — вздохнул Корбу. — А главное, что сила у них — и не только боевые ружья да вертолеты, но и самолеты имеются...

— Ну, ты высоко хватил, однако.

— Ничего не высоко, — мотнул он головой. — Выше-то достать у нас рук не хватает. Вот они и пользуются этим. И на нас глядят сверху, как на тех же зверей да животных. Вижу, ты не согласен со мной? А я тебе еще вот что скажу в доказательство: тайга ведь тоже имеет свои законы. Слышал, как снежный барс настиг марала?

— Так это ты в барса стрелял?

— Стрелял-то я в воздух. А насчет законов скажу так: есть писанные законы, а есть и неписанные. И еще неизвестно, какие из них правильнее. Вот, скажем, вы, городские, живете по-своему, а мы, таежники, по-своему, — сказал, как бы отгородившись.

— А ты, Корбу, в городе-то часто бываешь?

— А чего я там потерял? — отшутился он с насмешливым вызовом. Магазины у нас имеются, привозят нам, что необходимо... Так что нечего мне делать в вашем суркоговом городе.

— Почему суркоголовом?

— А вот скоро покрепчает мороз, ты и погляди на своих

горожан, — сказал с ехидцей. — Сплошь, как птенцы инкубаторские, будут в сурочьих шапках.

— Метко засек, — засмеялся я, — Откуда же так много этих шапок тарбаганных, ты не задумывался? Может, на асфальте растут, размножаются желто-рыжие сурки?

Корбу снял закипевший чайник, поставил в сторонку, прикрыв полой тулупа, чтобы дольше не остывал, и повернулся ко мне:

— Говорят, много их водится в степях Кош-Агачского аймака. Если их еще не всех на шапки перевели...

— Да, — согласился я, — истребляют их нещадно. А Кош-Агач, между прочим, обеспечивает своими сурками не только наш город, но и другие сибирские города. Может, в сурочьих-то шапках и парижане форсят...

— Да ну! Врешь, поди? — усомнился Корбу. — Неужто и парижане?

— А ты, если не веришь, возьми да и пошли какому-нибудь парижанину сурочьих шкурок, — посоветовал я. — Вот и поглядишь: будет он шапку из них носить или не будет.

Корбу отмахнулся:

— Хватит разыгрывать. Нет у меня в Париже родственников, чтобы шкурками их одаривать... Скажи, — глянул на меня, — сам-то ты, небось, тоже не прочь в такой шапке пофорсить?

— Нет, я бобровую предпочитаю. Или, на худой конец, ондатровую. А ты слышал, Корбу, как плачут тарбаганы-сурки? — повернул я разговор. Корбу посмотрел на меня удивленно:

— Как плачут?

— А как дети малые.

— Ты что, сам слыхал?..

— Слыхал. У меня и сейчас, как вспомню тот крик, мороз по коже и сердце разрывается. Жуткая картина. Сколько лет прошло, а забыть не могу. Помнится, такая же поздняя осень была, первый снежок выпал. Приехал я в Кош-Агач по своим писательским делам, побывал в отдаленном селе Белтир, а оттуда повезли меня в Мухор-Тархату — и по дороге такое мы увидели, что лучше бы и не видеть вовсе. Кругом степь. А по степи бегают какие-то люди, два или три человека, что-то копают, суетятся, снова бегут... Потом вдруг

раздается душераздирающий крик. Поначалу я и не понял, что там происходит. А водитель машины, везший меня из Белтира, пояснил: сурков добывают. Оказывается, дело это и вовсе не сложное. Когда наступают холода и сурки засыпают, выходят на охоту и любители их шкурок, раскапывают норы и берут заснувших зверьков, можно сказать, голыми руками... Да и от мяса не отказываются. Особенно, говорит, хорошо оно помогает легочникам...

— Это барсучье сало легочникам то помогает, — уточнил Корбу.

— И сурочье, говорят, тоже полезно. Так что двойную выгоду охотники имеют — и шкурка, и мясо.

— Ты посмотри до чего додумались! — удивился Корбу. — Сонных прихватывают... Это ж сразу какая добыча! Они ж, сурки-то, в одной норе семьями зимуют.

— Вот именно. И жутко смотреть, как разоряют их жилище, убивают беспомощных зверьков...

— Нет, ты посмотри, до чего же хитры люди!

— Хитры, — согласился я. — И жестоки. Ты думаешь, так просто найти зимник-жилище сурка, если не знаешь повадок зверя? А находят. Я тогда одного добытчика спросил: как они это умудряются делать? А он ответил: по следу хорька. Там, говорит, где пройдет один хорек — пробегут многие. А хорек, оказывается злейший враг сурка. Поэтому они только и ждут, когда сурки лягут спать. И не просто ждут, а заранее выслеживают, где те сооружают свое подземное жилище. Умные, черти! Такое не каждому человеку в голову придет. Засекут место, где сурки строят зимник, и начнут незаметно таскать туда сухую траву, камушки, сооружая рядом с норой довольно высокий бугорок. И что интересно — каждый хорек знает свои метки. А когда наступают холода сурки засыпают — хорьки тут как тут. И уничтожают иногда сотни спящих зверьков.

— А люди?

— А люди стараются перехитрить и тех, и других. Добытки те рассказывали, как это делается: находят метки-бугорки хорьков, разбрасывают, а на их место ставят свои вешки, вбивают подле сурковых нор колышки.

— Видал, как! — восхитился Корбу. — Кто хитрее, тот и удачливее.

Нет, я не разделял этого восторга своего старого друга, столь же загадочного и непредсказуемого, как сама тайга. То он возмущается «коршуном-вертолетом», с которого стреляют по маралам, то восхищается бог знает чем. И мне захотелось дописать ту картину, которую довелось видеть тогда в Кош-Агачской степи, неподалеку от села Мухор-Тархата. Пусть знает, какая это бесчеловечная охота, когда опьяненные азартом добычки вытаскивают спящих сурков, бросают на стильную землю и бьют специальными деревянными колотушками. Страшно смотреть. Снег вокруг набухает от крови. Некоторые зверьки так и не поймут ничего, сонные, а иные, проснувшись, случается, вырываются и убегают с дикими воплями. Как дети кричат. А разгоряченные охотники с колотушками носятся за ними по степи... Вот с тех пор я и зарекся хоть однажды надеть сурочью шапку — ни за что!

Сказать по правде, на Корбу мой рассказ не произвел того впечатления, на какое я рассчитывал. Подтрунивая надо мной, он спросил:

— Чего ж ты тогда живешь в своем суркоголовом городе? Перекочевывай обратно в родные места. Правда, и в нашей тайге свои законы, их тоже надо понимать...

Долго мы еще разговаривали. Не заметили, как и рассвет подкрался. Горы как бы отодвинулись и открылись. Похолодало к утру. Наскоро попив чаю, мы наладились белковать. Но прежде решили заглянуть туда, где ночью разыгралась таежная драма. Проехали немного, и наши кони вдруг начали всхрапывать и косить глаза, пугливо прижимая уши, а потом и вовсе уперлись — и дальше ни шагу. Дергаю за повод, хлещу ремненным концом, а мерин стоит как вкопанный. Пришлось спешиться и взять его под уздцы. Идем потихоньку. И вдруг видим: красный снег. Белый — и снова красный. Оглядываюсь с опаской: не затаился ли барс поблизости? Корбу посмеивается:

— Ага, ждет он тебя, этот ирбис, когда ты наведешь на него свое ружье! Да его сейчас и с собаками не сыщешь. Запах пороха от моего ночного выстрела, поди, и по сей миг щекочет ему ноздри...

Вскоре мы и на марала наткнулись. Лежал он с разодранным брюхом, а вокруг земля выбита до черноты. Сопровитивлялся, видать, пантач да силы оказались неравны...

— Жаль! — вырвалось у меня. — Кому он мешал?..

Корбу, чуть помедлив, сказал:

— Жизнь есть жизнь. И не нам ее переиначивать. Мы вот сейчас будем стрелять белок, много будем стрелять, — круто повернул разговор. — А кому они мешают, скажи, тебе или мне? А может, вот этим великанам-кедрам? Молчишь?..

И сам он умолк, отвернулся, будто прислушиваясь к обманчивохрупкой исторожой тишине. А я все смотрю, не в силах глаз отвести от темных пятен на снегу — вдали сверкает он первозданной белизной, а здесь, вокруг нас, выбитая земля и красные разводы на снегу... И распластанный на земле марал, красавец гор, еще вчера ходивший по этим логам и распадкам, полный сил и желаний, а сейчас... Неужто это и есть закон природы, когда сильный убивает слабого, хитрец простака — и нет от этой грубой и неосознанной силы никакой защиты? Душа моя протестует, не соглашается. А Корбу внушает мне: «Запомни, парень, это закон тайги, закон природы — и его никто и никогда не отменит».

Вечером, как и уговорились, встретились мы с Корбу на прежнем месте, под старым кедром, где ночевали. И я, порядком за день умаявшись, немало был удивлен бодрым и прямо-таки воинственным видом своего друга, подъехавшего верхом на коне. Лицо его было разгоряченно-красным, из-под сдвинутого на затылок треуха щетинились волосы, а глаза поблескивали искорками еще не притухшего охотничьего азарта. Целый день я слышал выстрелы в той стороне, где белковал Корбу. И удача, по всему видать, ему сопутствовала.

— А ты что это, парень? — поинтересовался он весело. — Почему звуки твоего ружья не ласкали мне слух? Может, порох отсырел? Или белки стороной обходили тебя? — язвительно выпытывал, слезая с коня и с какой-то подчеркнутой небрежностью скидывая прямо на снег мешок с добычей. А я молчу. Нечего мне сказать. И в самом деле, за весь день — ни одного выстрела. Хотя белок видел немало.

Вскину ружье, прицелюсь, а руки сами собой опускаются... Такого со мной еще никогда не было.

— Ну, это ты зря, парень, — осуждающе качает головой Корбу. — Тех белок, которых ты пожалел, другие добудут — не люди, так звери... А коли ты такой добрый, — обиделся даже — зачем тогда и в тайгу приезжал? А я, по-твоему, значит, не добрый. По-твоему выходит, если барашка зарежешь к празднику — это тоже убийство? О, куда же бог! Сколько же тогда на моей совести грехов — наверное, больше, чем шишек на кедре... Вот как городская жизнь портит человека, — глянул с упреком, но как бы жалеючи. — Раньше ты вроде другим был. А?

— Все мы, Корбу, другими были — и ты тоже.

— Нет, — возразил он, — это ты совсем изменился. Таким стал, что и не узнать. Помнишь, как ты говорил: я волчонок, сын волка... А теперь, выходит, теленком стал? — задетый сам, Корбу и меня, кажется, хотел задеть побольнее. — Тогда, парень, в тайге тебе делать нечего — пропадешь. Правду тебе говорю, не обижайся.

— Наверное, ты прав, Корбу, и я не обижаюсь.

— Ну вот, — облегченно вздохнул он и шутливо-примирительно добавил: — А то портишь своим видом праздник. Или забыл, что охотничья удача — это тоже праздник?

— Нет, не забыл. Извини, Корбу, но ты уж потерпи до утра. Завтра я уеду, не буду тебе мешать...

— Как это уедешь? — вскинулся он. — А зачем тогда все уши прожужжал мне своими вопросами: когда на охоту, когда да как? Думаешь, я только ради себя приехал сюда, в Ак-Сас?

— Если бы я знал, что так получится...

— А чего ты не знал? Тайгу? Или, может, меня?

— Себя я не знал, Корбу.

— Гм, — слегка он озадачивается и, немного подумав, соглашается. — Это верно, себя-то до конца никто не знает. Ладно, — машет рукой, будто отсекая все прежнее. — Давай-ка лучше белок обдирать. Помоги. Вон их сколько! — вывалил из мешка стальные тушки, скрюченные и жалкие какие-то, с засохшими пятнами крови. — Посчитай — сколько их? Кажется, штук шестьдесят... — говорил Корбу, а я стоял, не двигаясь. И, глядя на эту пушистую грудку, как будто сно-

ва услышал жуткий крик обреченных сурков, тупые удары деревянных колотушек, гром выстрелов, предсмертный рев загнанного марала, треск сучьев... Все перемешалось во мне, опрокинулось — прошлое, настоящее, сон и явь. Белизна снега режет глаза, и я невольно зажмуриваюсь. А Корбу не просит меня больше о помощи, сам управляется, ловко орудуя ножом. И говорит, говорит:

— Знаешь, парень, если бы все наши молитвы-причитания доходили до Бога, жизнь была бы совсем иной. Да только не зря говорят: на Бога надейся, а сам не плошай! И запомни, — сдирая шкуру и разглядывая ее на свету — не повредил, не наделал ли ненужных порезов, серьезно и строго-наставительно продолжает: — Законы природы вековечны. Это же как дважды два; таежный закон — в тайге, а человеческий — в человеке. И ничто и никогда их не сблизит. Может, на том и жизнь держится. Нарушатся эти законы — и все на земле умрет, исчезнет: горы, леса, человек...

— А ты, Корбу, не только заядлый таежник, — смеюсь, — но и великий философ. Ну так скажи мне: разве война между человеком и природой неизбежна?

— Почему война? Нет, парень, — сдирая очередную шкуру и откладывая красноватый комок беличьей тушки в сторону, медлительно он возразил, — это не война, а жизнь. А знаешь, почему она хороша бывает, жизнь-то? Да потому, парень, что рядом с ней, чуть не в обнимку ходит смерть. Подумай: если бы не было горя да всяких бед, тогда бы и радости не было, счастья. Это не мной сказано, зато мной пережито...

Доводы его показались мне убедительными и неопровержимыми. Но я все же сказал:

— Ты, Корбу, рассуждаешь, как хозяин тайги. И по-своему ты прав. Но согласишься: не будь в человеке чувства жалости, сострадания, любви, даже страха — во что он превратится, в скотину или зверя?

— Зверь тоже умеет любить, — отстаивал свое Корбу. — И страха ему не занимать. Нет, парень, — как бы подвел черту, — не выдержал ты испытания нашей тайги. Вот и опустил руки...

— Это, Корбу, твое мнение. А я иначе думаю.

Такой была наша последняя встреча. И в тот день зас-

нежная и холодная тайга как бы расставила нас по своим местам, дав понять, что люди мы разные. И надо принимать это как должное — время и жизнь отпуская каждому свое.

Наутро, когда я, уложив нехитрые свои пожитки, оседлал коня и готов был уже тронуться в путь, Корбу, все это время печально и зорко следивший за мной, вдруг негромко меня окликнул, позвал:

— Постой. Оглянись! — он мучительно старался выглядеть веселым и меня, должно быть, хотел развеселить. — Нельзя, друг, из тайги уходить с пустыми руками. На, возьми, — выхватил из мешка несколько отменных беличьих шкурок и протянул мне — Будет хорошая шапка! — Я попытался было отказаться от столь щедрого подарка, но Корбу настаивал. — Бери, бери. Не обижай старого друга. Если сам не захочешь носить, сыну подаришь. Белки нынче тоже входят в моду...

Уехал я, а друг мой, Корбу Актелов, оставался еще в горах Ак-Саса, покрытых чистыми белыми снегами и темно-голубыми столетними кедрами. Там пока еще много зверей и птиц. И живут они по вековым законам тайги — хочешь или не хочешь, а с этим надо считаться.





ПОСЛЕ ВЫСТРЕЛА

Более полувека назад поселился Кузьма Захарович на берегу Алтын-Кёля, Золотого озера, названного когда-то русскими землепроходцами Телецким, и с той поры живет здесь безвыездно. Озеро, носящее двойное имя, что, впрочем, не мешает ему оставаться самим собой, лежит в глубоком межгорье, словно громадное зеркало, смотреть в которое, по словам Кузьмы Захаровича, никогда не надоедает. Смотришь — и видишь в текуче-синей бездонности зыбкое отражение прибрежных скал, деревьев, а может, и всей своей прожитой жизни... Иногда озеро, подернутое легкой мреющей дымкой, кажется неведомо куда плывущим кораблем, а иногда, в теплые ветреные дни, напоминает барахтающегося в люльке младенца — хочется опуститься на колени и погладить его рукой, приласкать. Чувство необъяснимой нежности овладевает Кузьмой Захаровичем, и он готов в такие минуты обнять весь мир. И хотя вслух никогда он не говорит о своей тесной, неразрывной связи с вечно живой и загадочной природой Алтын-Кёля, спитность эта и без слов угадывается — в каждом жесте его и в каждом шаге. Более того, иногда он и сам, Кузьма Захарович Захаров, кажется мне загадкой природы. С возрастом он заметно сгорбился и как бы слегка усох, стал менее гибок и более экономен и строг в движениях, но, как и прежде, неутомим в работе, и длинные ухватистые руки его, с костисто-сухими и сильными пальцами, способны еще держать и топор, и лопату, и весло... И, глядя на его руки, свисающие при ходьбе чуть ли не до колен, поражаешься тому, что сделанное ими за полвека вот здесь, на берегу Алтын-Кёля, не поддается никаким измерениям и оценкам. Хотя все сделанное — вот оно, перед нами, на виду. Облюбованный когда-то и обжитый, обихожженный человеком небольшой полуостров, кажущийся издалека, с противоположного берега, и вовсе крохотным, незаметным, похожим на конскую голову, опущенную к воде... Но сколько сил и ума, сколько

времени было затрачено и соленого пота пролито, чтобы клочок земли этот щедростью на щедрость отозвался и одарил человека своими плодами! Это же не по щучьему велению, как в сказке, все сделано, хотя и похоже на сказку — руками преобразена земля. Да какая земля!.. Веснами, когда глубокие снега в долинах, а потом и на склонах гор таяли и напористыми, бурливыми потоками скатывались в Алтын-Кёль, переполняя озеро, и оно холодно мутнело и выходило из берегов, заливая полуостров, вырывая с корнями деревья, сдирая землю и оставляя после себя ил, песок да камни... Что там после этого могло расти? И вот загадка: почему именно этот богом обиженный клочок земли облюбовал и выбрал Кузьма Захаров? Разве мало вокруг более удобных и благодатных мест, но он здесь осел — первым делом решил освободить его от камней. Однако вскоре понял: не это главное — важнее сначала оградить полуостров от полых осенних вод. И надумал тогда Кузьма Захарович, как говорится, убить двух зайцев: и землю очистить от камней, и камни эти употребить в дело, соорудив из них дамбу вдоль заливы. Но легко сказать — а как сделать? Камни оказались тяжелыми, почти неподъемными, и ему стоило громадных усилий, чтобы справиться с этой работой. Наверное, будь он мудрее и опытнее, выбрал бы другой путь — умный в гору не пойдет, умный гору обойдет! Но он был молод, горяч и по-медвежьи силен, работал упрямо, однако ж и не бездумно ворочал камни... Когда площадка была очищена и осталось только вскопать, взрыхлить и разбрасывать почву, что он и попытался сделать, да понял всю тщету и бесполезность затеянного: лопата то и дело наталкивалась на камни, которые, как оказалось, лежали не только поверху, но и таились в самой земле. Какой тут может быть огород или сад? Задумался Кузьма — и пришло ему в голову: сделать из толстого кедрового сутунка, прибитого когда-то волной к берегу, лодку и навозить с того берега, из долины Челушмана, черноземной земли и навоза. Это сейчас многое из того, что было сделано полвека назад, кажется невозможным. Тогда же для молодого и сильного Кузьмы Захарова невозможного не было, надо — значит, надо. И все задуманное он доводил до конца: и площадку под сад-огород расчистил, и дамбу соорудил, и лодку-долбленку из-

ладил, и навоза да чернозема того навозил, наворочал, как говорится, за глаза. Бывало, в день помногу раз переправлялся на своей долбленке туда и обратно — и удобрял, удобрял участок, смешивая навоз с черноземом, не жалея ни сил, ни времени. Пройдут годы — и зацветет здесь, на берегу Алтын-Келя, невиданный сад. Алтайцы говорят: сплетня волочится, держась за подпругу седла, а слава о добрых делах — в седле скачет. Молва о человеке, сотворившем своими руками чудо, и впрямь разнеслась по всему горному краю, побежала дальше... Его называли алтайским Мичуриным. Зачастили к нему гости, сам академик Лисавенко, бог сибирского садоводства, заглянул однажды и наговорил Кузьме Захаровичу немало комплиментов...

Все это льстило, конечно, Кузьме Захаровичу, но не изменило ни образа жизни его, ни тем более, характера — как был он, так и остался великим тружеником. Но мой рассказ не о том, как он вырастил свой невиданный сад, и даже не о той славе, которая свалилась на него, нет — об этом пусть пишут репортеры либо ученые, специалисты, а мне хочется (и я попытаюсь это сделать, насколько смогу) заглянуть в самые потаенные уголки человеческой души, чтобы понять и осмыслить другую, так сказать, обратную сторону характера своего героя — истоки добра и зла, любви и ненависти...

Стояла благодатная пора осени. Месяц горного Марала, сентябрь, только наступил, делая по земле робкие первые шаги, как малый ребенок. Пospели фрукты в захаровском саду, налившись ароматом и солнечными красками. Да и вся прителецкая тайга меняла облик, хотя и продолжала жить по своим неписанным и неизменным законам. Издавна она тут, за Алтын-Келем, считалась неприкосновенной, заповедной, что и оберегало ее, спасало от всякой пагубы, — оттого и зверя дичи всевозможной развелось немало. Это и понятно — никто их не гонит, не убивает. Призванные же оберегать фауну и флору ученые не только изучают повадки животных, зверей и птиц в заповеднике, но и ведут их учет, что больше всего удивляет Кузьму Захаровича: как можно сосчитать птиц, медведей, маралов или белок в лесу? Ну да сейчас культурными да умными стали не

только люди, но и звери, животные. Бывает, в летнюю пору, спасаясь от жары и гнуса, чуть ли не одним табуном спускаются к озеру и маралы ветвисторогие со своими самками-мыйгаками, и медведи с медвежатами, плавают, наслаждаются прохладой воды прямо на глазах у людей... Благодарать!

Удивительную и печальную историю об одном таком «культурном» медведе рассказал мне Кузьма Захарович. Прошлой осенью повадился тот медведь в захаровский сад едва стемнеет — и он тут как тут. Медведь был умным и хорошо знал, что делать, даже в темноте безошибочно выбирал самые лучшие яблони и начинал колотить по ним лапами... Крикнешь, пытаюсь его спугнуть, замрет на миг, притихнет, а затем снова примется за дело. «А ружье? — говорю я не без удивления. — Неужто у вас нет ружья?» Кузьма Захарович виновато улыбается и разводит руками: «Да так уж вышло... Раньше-то было у меня оружие, а теперь — нету. Теперь я не стреляю в мирных зверей. И не одобряю тех, кто всячески норовит обойти закон, бьет налево и направо. Закон писан ведь не для зверей, а для людей, — твердеет его голос. — Да и, кроме закона, должна ж быть еще и совесть, — добавляет он с грустью, как будто чего-то недоговаривая. — Вот потому и нет у меня ружья». А медведь тот и вовсе обнаглел можно сказать, потерял всякий стыд и стал приходить в сад ежедневно — никакой на него управы. Ходит — и все тут. И не думает о том, что, хотя кругом и заповедная тайга, а сад Кузьмы Захаровича еще заповеднее, но медведь не считался с этим. И стал Кузьма Захарович думать, как и чем бы его отучить, чтоб и дорогу сюда забыл косолапый. А придумав, повеселел и обрадовался: ну погоди, устрою тебе фейерверк, надолго запомнишь! Хотел рассказать жене о своей хитроумной затее, но передумал в последний момент — тайна, как птица, которую можно спугнуть...

А разве не тайна — человеческая память? Вдруг заглянешь в себя, как в студеную глубину Алтын-Келя, и всплывут из этой бездны, оживая, далекие давние события, картины, словно все это было не полвека назад, а только что, совсем недавно, вчера...

Тогда здесь, в местечке Беле, русских людей почти не было. Да и алтайских семей, как говорится, раз-два и об-

челся. И те аилы, крытые корой лиственниц, конусообразные, что редкими табунками разбрелись по долине, все больше привлекали молодого лесника, манили к себе. И вот однажды он решился, переплыл заливчик на своей долбленке и, оставив ее на берегу, отправился к стойбищу. Собаки встретили его дружным лаем. Подле одного из аилов стояла оседланная лошадь. Туда он и направился. И вдруг заметил неподалеку девушку. Она вскинула голову, испуганно глянув на него, и тотчас юркнула в аил, словно шустрый горностай в норку. А он так и замер, не в силах сдвинуться с места, и долго ждал, надеясь, что девушка снова появится, но она больше не появилась.

И на другой день, когда Кузьма подошел к аилу, девушка, едва завидев его, мгновенно исчезла. Однако на этот раз он успел ее разглядеть. Была она тонка и гибка, остроглаза и смуглолица, а черные густые волосы волной скатывались по спине... Позже Кузьма, набравшись храбрости, вошел в тот аил, познакомился с хозяином — «старым алтайцем Карманом и узнал, что девушку эту, младшую его дочь, зовут Олый. Кузьма потом переименовал и называл ее Ольгой, но с какой стороны подступиться к ней — не знал. Олой была пуглива, замкнута и всячески его избегала. А он все чаще и чаще стал приходить в стойбище...

Однажды Кузьма Захарович поехал в Бийск по своим лесничим делам, что по тем временам сопряжено было с множеством трудностей. Бийск стоит в устье многоводной Бии, единственной реки, вытекающей из Алтын-Келя. Кузьма долго плыл на своей долбленке по озеру, потом труднодоступными таежными тропами добирался до большой дороги... Вернулся он из Бийска недели через две. И когда снова появился в Беле и с часто бьющимся сердцем подошел к знакомому аилу, небритый и как будто еще больше вытянувшийся и похудевший, Олой, увидев его, тихонько вскрикнула и метнулась прочь, мелькнув босыми загорелыми ногами. А он уже знал теперь, Кузьма Захаров, что без Ольги-Олой нет ему жизни — все эти дни, пока был в отъезде, только и думал о ней. Так он и скажет Карману, приветливо встретившему и угостившему его крепким душистым чаем. И пока чаевали, Кузьма неспешно рассказывал о своей поездке, а сам все поглядывал на вход — не появится ли Олой...

Нет, не появилась. Тогда он, как бы между делом, придвинул к себе дорожный свой мешок, развязал тесемки и вынул из него новенькие узконосые ботинки.

— Вот, — сказал, протягивая Карману и чувствуя, как жарко становится, то ли от горячего чая, то ли от волнения. — Вот... подарок для Ольги.

Карман, помедлив, ботинки взял, повертел в руках, разглядывая, поцокал языком:

— Кароший обувка...

— Вот и бери, — повеселел Кузьма. — Пусть Ольга босиком не ходит.

Карман покачал головой:

— Нет, даром у русского купца мы ничего не берем.

— Да какой же я купец? — засмеялся Кузьма. — Обьездчик я, дядька Карман, а не купец... И ботинки эти от души дарю. Понимаешь? Для Ольги мне ничего не жаль. Понимаешь?

— Понимаю, — упрямо, однако, стоял на своем Карман. — Красный ботинки, кароший... Сколько надо соболиных шкурок? А может, белку?

— Ничего не надо, — обиделся Кузьма. — Я от души, а ты рядишься. Подарок это... сый*. Пусть Ольга носит. А изнаосит — еще купим. Она, дядька Карман, никогда у меня не будет ходить босиком...

Полвека прошло с той поры. Много воды унесла Бия из Алтын-Кёля» многое изменилось и в жизни Кузьмы Захаровича и Ольги Кармановны за эти годы. Нынче уже и младшей их дочери, седьмой по счету, за тридцать перевалило. Внуков около двадцати, правнуки...

— Вот погуляли, наверное, на свадьбах-то, повеселились?

— Нет, — нахмурился Кузьма; Захарович и отвел глаза, — не был я ни на одной свадьбе...

И я растерялся немного, услышав такое, не знал, как и о чем дальше говорить. Выручила Ольга Кармановна, тотчас вмешавшись и пояснив:

— Они ж у нас все поразъехались, разлетелись, как птицы из гнезда, в разные стороны — за сотни да тыщи верст. Если б где-то поближе, Кузьма поехал бы, конечно, а так...

* Сый (алт.) — подарок.

это ж не на один день — на кого дом, хозяйство бросишь? — оправдывала мужа. И Кузьма Захарыч, благодарно глянув на жену, добавил:

— Зато всем семерым, когда они справляли свадьбы, подарили по телочке. Никого не обидели. Ну а мать, — опять глянул на жену, — на всех свадьбах побывала. Полномочный представитель, — улыбнулся.

— Ага! — подхватила она шутливый тон. — И на всех свадьбах поплясала. Ох, и старалась! Подошвы от семи пар сапог оторвались... А теперь вот уже и третья внучка на выданье. Готовь, Кузьма, новые подарки!

Кузьма Захарович весело покивал:

— Было бы здоровье да силы — за подарками дело не станет. А я смотрел на них и думал: пятьдесят лет прожить душа в душу — это разве не счастье?' Радовался за стариков — и сам подле них как бы теплел и отогревался душой...

Подле дома Захаровых, напротив крыльца, рос громадный кедр, с тяжелыми развесистыми ветвями, и Кузьма Захарович много лет назад соорудил под ним беседку, сколотив лавки и довольно широкий семейный стол, за которым, бывало, усаживались они всей своей дружной и веселой артелью... Нынче от той артели остались лишь они с женой, как два старых полузасохших корня, и вязкая тишина поселилась теперь на этой усадьбе, должно быть, навсегда. Но они, как и прежде, любили сживать и коротать время за этим столом, под кедром. Вот и в тот памятный вечер сумерничали они в той беседке. Солнце уже скатилось за вершины поднебесно-высоких гор, вскоре тьма, густая и уплотняясь, повисла над землей. Было тихо, не по-осеннему тепло. И сладковатым запахом поспевших яблок тянуло из сада.

Допив чай, Кузьма Захарович опрокинул чашку на блюдце, поднялся. И в это время откуда-то из глубины темнеющего сада донесся резкий, знакомый уже шумок — треснул сломанный сук, зашуршала трава, глухо стукнуло по земле, наверное, упавшее яблоко... Гость пожаловал сегодня рано. Уверовав, как видно, в полную безнаказанность, он и вовсе потерял всякую бдительность, действовал смело и не хорясь.

— Явился! Ну погоди, — выдохнул Кузьма Захарович, — сейчас я тебе устрою баньку — жарко будет...

— Какую баньку? — насторожилась Ольга Кармановна.
— Что ты надумал?

— Сейчас увидишь... — загадочно усмехнулся Кузьма Захарович и поспешно вошел в дом. Пробыл он там недолго, с минуту. Однако Ольге Кармановне эта минута показалась бесконечной. Она сидела за столом, напряженно вглядываясь в темноту сада, прислушиваясь и отчетливо слыша, как невидимый зверь, ломая сучья, пыхтя и громко чавкая, все ближе и ближе подходит... В какой-то миг она как будто даже лицом ощутила его дыхание. И сидела, не в силах сдвинуться с места, словно пристыв к лавке. Наконец вышел Кузьма Захарович, держа в руке сигнальный пистолет, ракетницу, предназначенную для всяких непредвиденных дел — вызова ли теплохода, маршрут которого пролегал неподалеку, условного ли выстрела в случае какой-либо надвигающейся опасности, беды... Впрочем, оружием этим Кузьма Захарович никогда и не пользовался. И вот сегодня решил его применить. Ольга Кармановна, увидев ракетницу в руках мужа, все поняла, встала и шагнула к нему, как бы заступая дорогу.

— Кузьма, не дури! Чего ты надумал?

— Сейчас увидишь. Да ты не бойся, — успокоил он жену.
— Большого вреда никому не будет. Это ж игра, шутка...

— Смотри, Кузьма, доиграешься... — предупредила Ольга Кармановна. И как в воду глядела: обернулась та затея — игра вовсе не шуточной бедой. Но Кузьму Захаровича, что-либо надумавшего, можно ли переубедить, остановить? Он только засмеялся коротко и, обойдя жену, двинулся в сторону где-то неподалеку пыхтевшего медведя, вполголоса проговорив:

— Слышишь, как он уплетает яблоки? Сейчас я ему испорчу аппетит...

— Не надо, Кузьма. Не дразни зверя...

Но он уже шагнул в темноту, скрылся за деревьями. И она притихла, затаившись, вся сжалась в ожидании. И вздрогнула от грохнувшего вблизи выстрела, эхом прокатившегося вдоль озера. Яркая оранжевая струя прочертила небо. Дико взревел медведь и кинулся прочь, с треском

ломая кусты. Взбаламученные собаки, спавшие до того беззаботно, бросились вслед за ним, но вскоре вернулись, виновато повизгивая. И вдруг такая мертвая тишина установилась, будто прогремевший выстрел убил все живое вокруг. Только сонно и мягко пошлепывала вода у берега. Да окружавшие Алтын-Кель великие горы, как бы пытаясь разгадать вечную тайну грома небесного, все тянулись вверх, смутно выступая из тьмы... Подошел Кузьма Захарович, разгоряченный и, судя по голосу, вполне довольный:

— Ну, как я угодил косолапого? Теперь его и калачом сюда не заманишь!..

Ольга Кармановна промолчала, еще, наверное, не придя в себя. И он тоже умолк, пораженный внезапно наступившей переменой в природе. Сквозь разрывы тяжелых многослойных туч, будто со дна небесного, вынырнула и засветилась маленькая круглая луна, глядя, как почудилось Кузьме Захаровичу, испуганно и удивленно прямо на него. И он замер в каком-то странном и неясном предчувствии, держа в руке ненужную теперь и вдруг отяжелевшую ракетницу. Тихо было, свежо. И в этот миг далеким-далеко, где-то справа от Алтын-Келя, в заросших кедрачами горах, протяжно и трубно заревел марал. И тотчас, теперь уже где-то слева, ответил ему другой, зычно, и предупреждающе. Кузьма Захарович тревожно вслушивался в эту ночную переключку быков, чувствуя в их голосах не только вызов и силу, но и торжество, радость вечно молодой и загадочной природы. Не зря мудрые алтайцы называют сентябрь месяцем осеннего Марала.

Потом и маралы умолкли.

А наутро вот что произошло. Ольга Кармановна, по старой привычке, поднялась чуть свет и пошла к озеру за сушняком. Она медленно двигалась по берегу, собирая в охапку приглянувшиеся палки, сучки, а Кузьма Захарович, занятый подле дома какими-то своими делами, время от времени поглядывал в ее сторону. Вдруг она выронила из рук собранные дрова и, закричав благим матом, бросилась к дому:

— Кузьма... Кузьма!.. Он там, на берегу...

Кузьма Захарович, подхватившись, пошел ей навстречу. Она подбежала бледная, перепуганная:

... Кузьма! Там он, тот медведь, на берегу, никуда не ушел...

— Как не ушел? — не поверил он и посмеялся. — Что, сидит на берегу, ноги в воду свесив, и ждет тебя?

— Да не сидит, а лежит. И медвежонок рядом.

— А не спутала ты корягу какую-нибудь с медведем? У страха ж глаза велики.

— Нет, нет, Кузя, я хорошо разглядела: медведица это лежит. То ли раненая, то ли... И медвежонок рядом с ней.

Раненая? — удивился он еще больше. — Раненой она не может быть никак. Холостой же выстрел — один звук, больше ничего... А ну пойдем, покажи, чего ты там углядела.

— А если она бросится на нас?

Так она ж, говоришь, лежит и не двигается, — подначил он жену. — Пойдем, пойдем, поглядим на твою находку.

Они спустились к озеру и, пройдя берегом шагов тридцать, вправду увидели лежавшую в странной, неестественной позе медведицу, повисшую животом на толстой лиственничной коряге — передние ноги по одну сторону, а задние по другую. Наверное, медведица пыталась перепрыгнуть через нее, да не смогла, сил не хватило... И медвежонок сидел рядом. Был он уже немаленький, но какой-то жалкий, сиротливо-сжавшийся и безучастный. Когда подошли, он только обеспокоенно сверкнул бусинками глаз и еще ближе придвинулся к матери, ткнувшись носом в бурый ее живот. Кузьма Захарович осторожно, чтобы не вспугнуть малыша, приблизился к недвижной медведице и долго ее разглядывал, прикидывая что-то в уме.

— Трусливой мамаша-то оказалась, нервной, — сделал заключение, — вот и не выдержало, видать, сердце... Выстрела ракетницы испугалась. Погляди вон как испачкалась, — пытался еще и шутить. — Яблоки наши так и не успела переварить, целиком выскочили...

— Господи! — прошептала Ольга Кармановна. — Как ты можешь такое говорить? Несчастье такое, а ты... Медвежонок осиротил. Как он теперь жить-то будет? Кузьма, Кузьма, какой ты... — совсем она расстроилась, как будто в ней враз что-то надломилось, оборвалось, слезы подступили к горлу, и она горячо, исступленно стала говорить, почти выкрикивая: — Какой ты — безжалостный, Кузьма, жестокий!

дет в их доме — грозы не миновать. Кузьма Захарович, узнав об этом, помрачнеет и ходит туча тучей до тех пор, пока не выплеснет все наружу:

— Ну что, договорилась о новой встрече? Когда он посулился еще приехать, этот охотничек?..

— Да ты что, Кузя? — потрясенная грубой несправедливостью, беспомощно и жалко улыбалась она. — Как ты можешь...

— А как ты можешь? — белеет он лицом. — Муж из дома, а гости — в дом!

— Да разве ж я их звала? Ну заехали, побыли, что ж тут такого...

— Не знаю, может, и звала.

— Кузьма, побойся бога!..

Но ему уже не до бога, распаляется так, что и сам потом раскаивается, жалеет о случившемся, однако в тот момент и вовсе не владеет собой. Ольга Кармановна помнит, как однажды в пылу такой вот вспышки поставил он ее к стенке избы, выхватил пистолет (наблюдатели заповедника имели тогда по штату оружие) и давай палить, только пули вжикают — то слева, то справа... Стреляет, а сам приговаривает:

— Сознавайся, зачем он приезжал, этот охотник, когда меня дома не было? — Ольга стоит ни жива ни мертва, вжавшись в стенку, и не двигается. А он все целится в нее и пытается: — Говори, куда жива...

Ох, лучше об этом и не думать! Расскажи кому, так ведь не поверят. Нет, страха у нее тогда не было, только обида, горечь горькая жгла душу. Да и он, Кузьма-то Захарыч, после вспышки такой безобразной ходит, как в воду опущенный, тоже мучается, места себе не находит. А вечером, когда она ляжет в постель, придет и рядом пристроится, виноватый и присмиривший, начнет уговаривать и ласкать, гладит по голове, мокрые щеки ее вытирает ладошкой:

— Олюшка, Оль, прости меня, не со зла я это, поверь... Люблю я тебя, вот и ревную, голову иногда теряю.

— А чего ж не убил, коли стрелял в меня?

— Да не в тебя я стрелял. Так это, для острастки... Прости, Олюшка, — покорным становится, мягким. — Дети ж у нас... и еще будут. Хочешь сынка? — обнимает ее, целует, и

она ж не каменная, смягчается и теплеет, оттаивая... Потом, спустя много лет, вспоминая об этом, не без горечи говорила: наверно, потому и детей нарожали кучу, что ссорились часто... «О кудай бог! — думала она сейчас, потихоньку всхлипывая и все еще сидя на земле, подле срубленной яблоньки. — Медведица и та не выдержала, сердце разорвалось от испуга... отчего мое-то сердце столько вынесло, вытерпело и осталось целым? Господи, прости нас обоих, помилуй...» — встала она, стряхнула с платья налипшие комочки земли и мелкую щепу, рассыпанную вокруг, повернула голову — и увидела мужа, шедшего по тропинке от озера. И не один он шел. Она пригляделась, не разобрав сразу, с кем это он там, и поняла наконец: Кузьма Захарыч вел на поводке медвежонка. Подошел, остановился поодаль, как бы всем своим видом говоря: повинную голову меч не сечет. И тихо сказал:

— Вот, принимай.. нашего полку прибыло. Она молчала, стараясь на него не смотреть.

— Куда ж теперь сироту девать? — вздохнул Кузьма Захарович и тоже помолчал. — Думаешь, мне эту медведицу не жаль? Что ж теперь коли так вышло...

Она все молчала, не глядя на него.

— Может, и мне лечь рядом с медведицей? — спросил он, слегка повышая голос. — Или камень на шею — и в воду...

Ольга Кармановна подняла на него глаза, сухие от давно уже выплаканных слез, и опять ничего не сказала. Он, чуть-чуть поразмыслив, шагнул к ней и, взяв за руку, попросил:

— Ну хватит, Оля, в молчанку играть. Давай поговорим.

— О чем? Давно уже все сказано.

— Так ведь и счета сводить нам уже поздно.

— Поздно? — удивленно посмотрела на него и покивала, соглашаясь. — Наверное, поздно, ты прав.

— И давай выбросим все камни из-за пазухи, — живо он подхватил, — а глупость из головы. Нас теперь, Оля, как вон те две вершины за Алтын-Келем, ничто не разъединит. Вместе жизнь прожили, детей вырастили, вместе и дальше идти...

— Далеко ли нам осталось идти? — горестно усмехнулась. И, повернув голову, задержала взгляд на срубленных

яблонях. — Вот их-то, Кузьма, ты живьем положил... Деревья-то чем перед нами провинились?

— Ничего нет вечного, — буркнул он, отводя глаза. И в этот момент напомнил о себе медвежонок, натянул ременный поводок, забеспокоился и жалобно заскулил, совсем как малое дитя, беспомощно и просяще. Ольга Кармановна вдруг спохватилась — ой, кудай бог! Как же они за своими разговорами о медвежонке забыли? И острое материнское чувство переполнило ее, захлестнуло.

— Да милый ты наш ребенок, ты ж голодный, всю ночь не ел... — взволнованно и горячо проговорила она, как бы засвечиваясь вся и озаряясь изнутри. — Сейчас я тебе молочка дам, хлебушка покрошу... Кузьма, ну что ты стоишь, как пень! — прикрикнула на мужа, но в голосе ее уже не было ни прежней холодности, ни жесткой обиды — одна лишь решимость. — Пойдем.

И Кузьма Захарович, довольный столь внезапным примирением и благодарный жене за ее соучастие, облегченно вздохнул и двинулся вслед за ней к дому. А медвежонок заупрямился. Уперся и не хочет идти дальше. Пришлось силой его тянуть. «Глупый, ты ж без нас теперь никуда, — потрепал его по пушистому загривку Кузьма Захарович. — Ничего, малыш, ничего, жить будем... А за вчерашнее прости меня, — построжел и проговорил мысленно, то ли к медвежонку обращаясь, то ли к жене, торопливо и мягко шагавшей впереди. — Все с этой дурацкой ракетницы началось...»





О ТОМ, КАК Я ВПЕРВЫЕ ХОДИЛ НА ОХОТУ

Глава шестая из романа
«Убить бы мне голод»

У ж который раз на склоны крутоверхих гор и на просторные поляны Кайру-Бажы выпадал первый снег, предвестник большой и долгой зимы. Утром на холодном и ясном небе медленно поднималось огромное солнце. Оно удивленно сверкало, словно впервые видело белые молчаливые долины. По их белизне бежали, отражаясь множеством звезд, лучи солнца.

С нынешней зимы мать разрешила мне пользоваться старым ружьем отца и самостоятельно ходить на охоту. Поэтому, увидев первый снег, обрадовался я, учащенно забило сердце, торопя и беспокоя меня. Но откуда мог я знать, что первая охота принесет мне печаль и большую тревогу. Что поделаешь говорят, беда всегда прячется под рукавом..

В те годы любой имел право носить ружье и пользоваться им. Запрета, как теперь, не было. В горах каждый имел собственное ружье. Но тем не менее в наших местах никто никогда не слыхивал, чтобы человек ружьем угрожал и даже убивал человека.

Снял я старое кырлу-ружье отца и выбежал из юрты со своим ровесником Пашей. А в это время никого из взрослых не было в юрте. Правда, в избушке сидела тетушка Тудар. Остальные еще ранним утром ушли и уехали по разным делам. Кто-то из оставшихся чистил коровий хлев, кто то раздавал телятам сено. Борбок-Кара тоже был на своем участке — пас коров. Присматривая за животными, он успевал и поохотиться, и расставить ловушки на звериных тропках. Бывало, иногда приносил он белку или зайца.

Мы с Пашей ушли недалеко в лес. Там с радостью заметили, что по первому чистому снегу зимы пробежали сотни лап. Кайру-Бажы тогда был не таким, как в нынешние годы. Полно было и белок, и лисиц, и быstroногих зайцев.

Косули и кабарги тоже бродили по горам и лесам. А сегодня пойдешь в те же горы и леса, не найдешь ни одного следа — лишь нетронутый чистый снег встретит тебя. Зря говорю я «лес», «леса»... В Кайру-Бажы сейчас нет лесов, кругом голо и неузнаваемо тоскливо.

Воспоминания о прошлых годах обостряют проблемы нынешних дней. Потом опять уводят к далеким временам детства.

— Поезжай сегодня в Кайру-Бажы, ты и не узнаешь его, — не раз, приходя в палату, говорил мне Борбок-Кара. — Даже я, работая всю жизнь там, иногда не узнаю родных мест, Барыс. Чем писать какие-то стишки, лучше написал бы об этом. Ведь это серьезно... Кому нужны твои стишки, кто их будет читать?

Например, я — не то что стишков каких-то, даже толстых книг не открываю.

— О чем ты просишь писать, Борбок-Кара? — понимая его, я спросил нарочно.

— Как о чем?!—Борбок-Кара удивленно раскрыл свои холодные глаза.— Ведь ты только что говорил о лесах Кайру-Бажы. Сейчас нет там лесов, говорю. Тех мощных и толстых лиственниц, кедров и елей. Их давно уничтожили электропилами. Иди, иди теперь в Кайру-Бажы... Попробуй найди там, как было раньше, белок и других зверей с богатыми мехами. Не на кого направить ружье. Вот что встретится тебе! — Он показал кукиш.

«Пиши...» Откуда знать Борбок-Каре, когда он не читает, что я уже немало написал и о богатстве природы и об охоте.

Как тут не вспомнить о Леониде Леонове? Сколько сказано им горячих и правдивых слов о родном лесе и природе?

Мой Борбок-Кара, видимо, даже не знает, что живет в одно время с такой большой личностью. А он, Леонов, обвиняя, например» Министерство просвещения, без всяких, как говорится, оговорок, открыто сказал: «Думаете, хоть разок отозвалось оно на многократные мои призывы и попреки? Нет, это люди, занятые чиновные! А ведь прямое дело школы — постепенно готовя из детей будущих агрономов, инженеров, развивать ребячий интеллект, воспитывать ха-

рактеры под углом именно практической, с малых лет, преданности родной земле».

— Земля не резина, ее не растянешь пошире, парень, — сидит и почему-то весело смеется мой друг Борбок-Кара. — Как когда-то богом сотворено Кайру Бажы — никому никогда его не сделать больше и шире, чем есть! Раскромсали наш Кайру-Бажы. А сколько валяется там бревен, валежника, повсюду торчат пни. Испоганили мы свою землю: нет мест для заготовки кормов, негде пасти коров. Ты — писатель, пиши обо всем этом. Кайрунцы тебе объявят благодарность, подарят по барану. Пора ведь спохватиться...

Смотрю я на Борбок-Кара, а в голове опять звучат слова того же Леонида Леонова.

«Я не лесовод, не облечен никакими специальными полномочиями по охране леса, я только один из обожателей живой природы, хотя и с пером в руке, а ведомство писательское, при всем нашем желании, несмотря на его мнимую значительность, далеко не всесильно... И впрямь, много ли наделаешь пером против стальной армады быстродействующих пил? Куда там, неравный бой!...»

— Знай и пойми, друг, земля — не резина, — Борбок-Кара повторил еще раз, встал и ушел в свою палату.

...Мы шли по белому снегу среди бесчисленных следов зверей. Вдруг Паша закричал:

— Смотри, белка... белка!

На небольшой круглой поляне стояли всего лишь три деревца и там с сучка на сучок проворно, словно пушистый мяч, прыгала белочка. Услышав наши голоса, она замерла, лишь смотрела на нас черными и хитрыми глазами, ожидая, когда мы удалимся.

Стрелять с руки, поднимать отцовское ружье было тяжело для меня. Поэтому я предложил Паше:

— Иди сюда и встань передо мной, а я ружье положу на твое плечо и буду целиться.

А что Паше — он послушался и смиренно встал. Я положил на его плечо длинное ружье и стал целиться в белку. Волнуюсь и тороплюсь. До первого грома моего кырлу прошел, кажется, целый год. И вдруг возле самых ушей Паши грянул выстрел. От испуга он так присел, что я уронил ружье. Не обращая внимания на Пашу и ружье, я смотрел на белку. Она, ударяясь и цепляясь за сучки, падала вниз. И

вдруг перед самой землей ловко зацепилась за нижний сук и тяжело, ползком ушла вверх.

О куда-бог, не знаю, что тут со мной случилось — сердце сильно забилося от волнения! Я даже не подумал, что ранил белку. Мне почудилось, что она, как крылатая птица, сейчас же улетит куда-то. Я торопливо поднял ружье, лихорадочно стал его заряжать.

А ружье заряжалось пулей, не дробью. Кроме того, у него не было затвора. Пулю надо было толкать прямо в ствол. Но прежде в ствол насыпался порох, потом вставлялась пуля, ставился капсюль, и только тогда можно было стрелять.

Пашу я снова поставил перед собой, положил на его плечо ружье, прицелился и нажал курок. Но, к удивлению, выстрела не было. Лишь разбился от удара бойка капсюль и раздался негромкий звук. Но белка и его испугалась, поднялась еще выше. Я совсем расстроился. Что случилось?

— А-а! — невольно закончил я, вспомнив и догадавшись, в чем причина. — Я забыл насыпать порох в ствол. Затолкал только пулю. Что теперь делать, как быть?

Думали, думали и наконец решили: потихонечку насыпать в отверстие от капсюля порох, после поставить капсюль и выстрелить. Так и сделали. Я опять поставил Пашу перед собой, прицелился, нажал на спусковой крючок. Раздался звук чуть сильнее прежнего, но пуля осталась в стволе. А белка поднялась на самую макушку лиственницы.

Но мы почему-то решили, что пуля вылетела, просто мы промазали. Хорошо хоть в стволе нет теперь пули. Теперь не надо торопиться. Сперва насыпать в ствол порох, потом вставить пулю. Нет, никак нельзя торопиться и забывать: вот смотри, Паша, сыплю в ствол порох. Насыпал, да?.. Видел, Паша, что я насыпал порох? А сейчас, вслед за порохом, смотри, толкаю пулю. Вот, затолкал. Ничего на этот раз мы не забыли. Сделали все правильно, как настоящие охотники. Теперь только хорошенько прицелиться и попасть в белку. Нельзя оставлять в лесу такое добро. Подумать только — она стоит три рубля шестьдесят копеек! Нельзя бросать на ветер столько денег, друг! Как мы их здесь оставим, с какой совестью вернемся домой? Ведь три рубля шестьдесят копеек!..

Вдруг Паша сказал:

— Давай теперь ты встань, а я буду стрелять. Хотя ружье мое, я не мог отказать ему. Может, Паша точнее целится? Кто знает. Встал я на место Паши. Пока он не выстрелил, я обернулся к нему:

— Паша, если ты попадешь в белку...

— Значит, скажем, что белку убил я,— гордо сказал он.— Придем домой, так и объявим. А деньги за шкурку разделим пополам...

— Идет,— согласился я и подставил плечо. Насторожился, дышать перестал, жду, когда долгое эхо выстрела раскатится по горам. Всем существом ощущаю, что Паша сильно волнуется. Наконец он нажал на спусковой крючок, и так же, как и давеча, раздался слабый звук одного лишь капсюля.

Бог ты мой! Что, что такое?.. Может быть, силой какого-то колдовства с нашим ружьем случилась беда? Вдруг в его стволе сидит сам черный алтайский черт?..

Судили рядили, судили рядили и выяснили:—сперва, забыв, что надо вперед насыпать порох, я в ствол поместил пулю потом порох, я затем опять пулю. Таким образом, между двумя пулями образовалась прослойка пороха. Сунули шомпол в ствол ружья — он на два пальца не дошел до положенной черты. Теперь ничего не сделаешь. Об этом надо украдкой сообщить только Борбок-Каре. Пусть он нам поможет выбить из ствола пули и порох. Он хитер, придумает что-нибудь...

Словно ничего не было, я принес ружье, ~~по~~засил на прежнее место. Два дня молчал, поджидая удобный момент. Но сердце не давало покоя. Оно, будто запертый щенок, выло и царапало меня изнутри.

Мать уехала за сеном. Другие доярки тоже ушли по делам. Борбок-Кара сегодня дома, у него день отдыха. Их двое, пастухов, работают поочередно. В свои выходные дни Борбок-Кара обычно или охотится, или спит в избушке весь день, завернув пеструю от лишая голову старой шубой. Сегодня он остался спать.

— Борбок-Кара,— шепчем мы с Пашей,— ты сможешь нам помочь? В стволе нашего ружья застряла пуля.

Борбок-Кара вострепнулся, посмотрел на нас и горделиво ответил:

— Есть ли то, что я не мог бы сделать, а?! Как же я буду считать себя вашим командиром, если не сумею выбить пулю из ствола? Где ружье?

— В юрте.

— Пошли.

Посмотреть, как Борбок-Кара будет выбивать из ствола ружья пулю, с нами увязалась и моя сестренка Клара, она была в избушке и слышала наш разговор с Борбок-Карой.

В юрте Борбок-Кара взял в руки кырлу, повертел в своих крепких толстых пальцах, изучающим взглядом осмотрел его и начал развязывать веревки, чтобы отделить ствол от ложа. Потом легкими и ловкими движениями пальцев с конца ствола отвинтил шуруп, на который ставится капсюль. Теперь в его руках остался голый ствол. Туда он засунул длинный шомпол и сильно стал толкать его двумя руками. Аж лицо покраснело! Но из этой затеи ничего не получилось.

— А ну-ка, молоток! — наконец приказал он. — Сейчас посмотрите, как вылетят эти проклятые пульки.

Борбок-Кара стал бить молотком по шомполу. Опять никаких результатов. Когда я вспоминаю об этом, и теперь страшно. Сердце чуть не подпрыгивает до горла. Может быть, человек на самом деле живет под богом? Подумайте сами, когда Борбок-Кара молотком бил по шомполу, ведь мог бы разогреться порох, находящийся между пулями, и тогда... На этом белом свете давным-давно не жил бы Борбок-Кара. Нет, лучше об этом не думать.

Наш командир, не выбив из ствола пули, рассердился.

— Ы! — огрызнулся он. — Ы!.. В таком случае найдем другой выход. Я ведь самый близкий друг великого охотника Папая! Разве я не Борбок-Кара?! Не может быть никакой преграды перед Борбок-Карой, понятно вам?! — сердился и хвастался он. — Скажите, кто из вас хитрее, кто догадается первым, как я достану пули?..

Моя сестренка сидела возле самого очага, грелась и смотрела молча, как мы стараемся освободить ствол. А Паша и я вертелись около Борбок-Кары. Откуда нам было знать, что вот-вот грянет беда!

Значит, в юрте Борбок-Кара, Паша, я и моя любопытная сестренка. Нет, я ошибся. Живых существ нас, оказывается, не четверо в юрте. В углу лежит больной теленок, укутанный старой овчиной. У нас всегда так: даже корова

заболеет — ее держат рядом с людьми. Ухаживают за ней, печат ее и лелеют, кормят — лучше нас, детей.

Стало быть, в юрте нас пятеро — Борбок-Кара, Паша, я, маленькая моя сестренка и красной масти теленок. Но опять я считаю неправильно. Кроме нас, пятерых, в юрте находится еще одно живое существо. Это — огонь, горящий посреди юрты. Наш народ считает огонь живым существом. Садятся есть — прежде всего задабривают огонь. Он старше всех. Хоть и бедную, плохую еду, все равно он варит и жарит, сам угощается ею, Огонь — наше божество и хозяин наш.

Вдруг глаза Борбок-Кары стали хитрыми от осенившей его мысли. Он взял конец ствола, где грозно и тихо лежали пули и порох, сунул его в красные угольки, а другой конец прислонил к таганку.

— Ну, сейчас свинец расплавится на жару и вытечет! — радостно и гордо объявил он.

Не прошло и минуты, как раздался страшный взрыв, полетели головешки, красные угли и зола.

Очнувшись, я прежде всего заметил, что возле очага, закрыв ладошками лицо, навзничь лежит моя сестренка. Что тут случилось со мною! Я кинулся к ней, ничего не видя и не слыша вокруг. Рядом кричали Борбок-Кара и Паша, что-то делали, но я не мог прийти в себя. Поднял сестренку — живая!

В следующий миг смотрю — в юрте полно народу. Первой заметил перепуганную до смерти тетушку Тудар. Возле нее стоят Метирей, Малайт. Оказывается, прибежал даже больной Аткаыр. Глаза у всех — как у коров и коней, на которых напала стая волков: испуганные, сверкающие — глаза беды.

Вдруг тетушка Тудар рванулась с места и кинулась ко мне. Она что-то кричала, ругала меня, наверное, — я не слышал. Лишь видел: шевелятся ее синеватые, искривленные губы.

Сколько времени прошло после выстрела — не знаю. Тетушка Тудар склонилась над моей сестренкой, а та вдруг схватила ее за шею и громко заплакала. Этот плач вывел меня из оцепенения. Тетушка Тудар крепко прижала девочку к своей груди, молча гладила и гладила ее черной и грубой ладонью по голове. Потом, как собака, обнюхала ее голову,

щеки, тонкие ручонки и начала приговаривать:

— Ничего, ничего, балам, успокойся. Вот приедет твоя мама, мы покажем им, как баловаться ружьем...

Через некоторое время, опомнившись и успокоившись, мы начали собирать и складывать на место разбросанные головешки и угольки и лишь теперь заметили, что красный наш теленок, вытаращив глаза, лежит, растянувшись на земле, а из-под него ручейком течет кровь.

Слава богу, живой осталась сестренка. Моя самая нежная и маленькая сестричка, которая до сих пор уважительно обращается ко мне: «Акам — Старший мой брат».

Э-гей, моя сестренка, помнишь, как ты в тот день, когда мама вечером пришла с работы, жаловалась и плакала? Тогда, помнится мне, ты не произносила буквы «р» и «л», вместо них говорила «йй». На алтайском языке рука — «кол», а овечка — «кой». И если ты хотела сказать, что вымоешь руки, то выходило — вымою овечек своих. В общем, сестренка, ты в детстве говорила очень забавно...

— Мама! — крикнула ты, как только мать перешагнула порог избышки, и побежала ей навстречу. — Бойбок-Кайа в меня стрейийй йужьем! Но не убий меня, а убий киясного тейенка. Тепей нет у нас тейенка, мама...

Случилось, конечно, вот что. Порох, бывший среди двух пуль, нагрелся и выбил их. Одна из пуль попала в очаг и вошла в землю. А могла бы попасть в кого-то из сидящих возле очага. Другая угодила в теленка. Колхозный этот теленок тяжелым грузом повис на шее и без того бедных наших матерей.

Вот чем кончилась моя первая охота.

Кто тут виноват, скажи, Борбок-Кара, ай, Борбок-Кара...





ЕДИНСТВЕННЫЙ СЫН

Ответственный инженер облсельхозтехники Эмиль Эдискинович Ботошев был обременен привычными делами: разбирал многочисленные заявки, которые стекались из колхозов и совхозов, звонил то в облисполком, то руководству крайсельхозтехники, то готовил и подписывал разнарядки — как говорится, некогда взглянуть в глаза сидящему рядом другу. И все-таки боль, поселившаяся в груди в последние дни, не отпускала.

Год от года росла в области нужда в технике, особенно велик спрос на тракторы МТЗ-82, «Казахстаны», МТЗ-80, да и на другие грузовые машины. Эмилю Эдискиновичу не впервой оформлять заявки, накопившиеся под новый год, не впервой отправлять в Союзсельхозтехнику. Но сегодня он чувствовал глубокую усталость и тяжесть внутри, — что делаешь, если на донышке твоего слабого сердца залегло сомнение и гложет, и шевелится, то подталкивая, то останавливая, совсем как в алтайской загадке о реке и камне: «Давай побежим — нет, давай полежим». А тут еще беспрестанные звонки из аймаков: требуют запчасти для сельхозмашин, кричат о какой-то спецодежде. Не до рессор ему и амортизаторов, но голоса в телефонной трубке щиплют и жалят, точно шмели, со всех сторон. И снова Эмиль принимается объяснять и ругаться.

Иногда ему кажется, что сидит не в тихом уютном кабинете, а в аиле на тагане, под которым пылает сухая лиственница. Иногда представляется, что держит на вожжах все хозяйства — вожжи намотаны на руки, туго, кругами, стянули сердце и мозг.

Шевельнется где кончик вожжи — и он дернется, смех услышит — откликнется смехом, раздастся крик — он закричит, — вот и вся работа.

О, кок-тенери, синее небо! Хотя бы дома было ладно. Или иметь бы вторую голову для личной жизни, для семьи, а для любви — второе сердце. А то жизнь так необъятна, что че-

ловек в ней — как жалкий островок в беспредельности океана.

Боль иногда словно жалела его — отходила, давала роздых, но потом снова подкрадывалась и бродила в душе тенью тигрицы. С приближением вечера она усилилась и уже когтями рвала сердце. Если бы не жена, разве он мучился бы так?..

Едва закончился рабочий день, Эмиль Эдискинович Ботшев сел в автомобиль и направился, говоря простым языком, в дом престарелых. Стояла глубокая снежная зима, но вечер был тепел и задумчив, и он быстро и легко долетел — в полчаса.

Пансионат для престарелых и инвалидов находился за высоким забором, сколоченным из досок. Эмиль никогда в нем не был, и не знал, что за дом прячется за тем забором. Да он и не предполагал, что жизненный путь приведет его сюда.

Поставив машину, нырнул в калитку. Заснеженная широкая ровная площадь внутри ограды смутно алела в лучах падавшего за горы солнца. Эмиль Эдискинович узенькой тропкой направился к серому, низкому, очень длинному зданию.

Кажется, он прибыл в не совсем удобное время — залитый электрическим светом вестибюль кишел людьми, Эмиль Эдискинович оторопел. Куда ни глянь — костыли, костыли, костыли... Придя в себя, понял, что костылей не так уж много, внимание приковывал глаза — десятки глаз! Глаза стариков и старух, калек и убогих ожидающие, просящие, испытующие, любопытные, еще надеющиеся на что-то.

«Чей это родственник? — зывали они. — Что скажет он, к кому пришел, кого приветит?»

Выходило, что именно в конце дня сюда наведывались люди к знакомым, родственникам, родителям. Они приносили гостинцы или приходили просто поговорить. Откуда было это знать Эмилю Эдискиновичу?

Каких только несчастных он не увидел в просторном вестибюле безруких, безногих, слепых. Слепые его поразили. Вцепившись в кого-нибудь, они стояли, как взведенные охотничьи курки — слух и внимание! А зрячие с любопыт-

ством разглядывали высокого молодого красивого и крепкого парня, с напряжением ожидая, к кому он подойдет.

Эмиль Эдискинович замер на месте. Ни к кому не адресуясь пробормотал "здравствуйте", шагнул и пошел, пошел вперед, через вестибюль, по коридору — узкому и длинному (Где же конец ему?!) — по обеим стенам шевелились серые тени старых и страшных людей.

Ссутулившись, ни на кого не глядя, вобрав голову в плечи, шел по коридору ответственный инженер облсельхозтехники. В лицо его, в широкую спину иглами вонзались взгляды. Он чувствовал, как испарина покрывает шею, все тело. С каждым шагом ноги тяжелели. Наконец, он юркнул вправо — в тихий небольшой коридорчик, отделенный дверью от того, многолюдного.

Ни души... Тишина, Ботошев остановился. «У-уф... — выдохнул с облегчением. Трясущимися руками ослабил галстук, расстегнул верхнюю пуговицу под ним и, тяжело дыша, медленно осмотрелся. Он стоял прямо перед дверью директорского кабинета. — У-уф!...»

И вдруг повернулся и на цыпочках торопливо потрусил обратно

Но голос, который так недавно слышал по телефону, раздался

сзади:

— Эмиль Эдискинович, куда же вы? Я давно вас жду...

Эмиль не оглядывался, а голос гнался, настаивал!

— Если документы вашей матери в порядке, мы готовы ее принять — немедленно, как договаривались...

Нет, почудилось... Никакого голоса не было. Но впереди тянулся тот длинный узкий коридор — пробить бы головою стену и выйти во двор! Скорее, скорее... Где легкость шага его, где гордый независимый взгляд?

И снова — глаза! Теперь ему казалось, что эти матери, стащив с него рубашку, полозуют сильную, стройную его спину плеткой-камчой. Пропитанная конским потом черная камча от крови его взлетает уже красной змеей. Глубже втягивает он голову, быстрее перебирает ногами. А с него сдирают одежду? «Глядите, люди, вот единственный сын тетушки Эртечи! Вот он каков, инженер, сын добрейшей Эртечи!..»

Эмиль добрался до дверей, когда перед ним возникла старенькая алтайка — маленькая, высохшая и сморщенная, словно кора трухлявого дерева. А глаза острые, как у Эртечи. В трясущихся руках, с набрякшими синими венами, она зажала два красных яблока, — кто-то, наверно, только что приходил к ней.

Эмиль Эдискинович приостановился — показалось, старая протягивает яблоки. Какое маленькое лицо, если ткнется ему в ладони — утонет в них. Сероватыми глазами она ощущала его. А он думал: «В самом деле, чья она мать? Как и зачем попала сюда?»

Она не отдала ему красных яблок. Она спросила:

— Ты чей будешь? Ты зачем здесь? Голос ее взвился плеткой, Эмиль проскочил мимо. Было ощущение, будто собравшиеся под этой крышей раскачали его за руки — за ноги и выбросили во двор — он стоял и жадно глотал морозный воздух.

Еще обернулся будто ожидая, что появятся сухонькие ручки с зажатыми красными яблоками.

Эмиль Эдискинович торопливо вышел за ограду, скрывавшую дом престарелых, и, не оглядываясь, погрузился в машину.

II.

Где, оно, время, когда Эмиля сжигало нетерпение молодости, когда был он еще неженатым и вольной птицей парил над обыденностью? Летят годы над черной его головой, и в какой-то из них одно из прекрасных четырех времен отняло у него душевную энергию и добрую зоркость. Ведь не сразу он стал Эмилем Эдискиновичем. Дорога, идущая вверх, никогда не бывает легкой. Это спуститься нетрудно. Не заметишь, как скатишься с вершины к подножью. Смотришь, а ты уже на подоле горы или хуже того — на краю пропасти. Иной раз, на вершину глядя, побоишься снова туда карабкаться или, заленившись так и останешься у подножья.

Конечно, Эмиль и теперь не стар. Всего тридцать пять лет. А ведь был и двадцати трех, и двадцати четырех... Был шустрым и бездумным, как белка, летящая по ветвям в кед-

65–лет: Хроника встреч и разлук



Борис Укачин с матерью Чапьевой Янаш. с. Каярлык.



С сестрой Кларой в студенческие годы .



Молодость



В кругу семьи. 1969 г.



Из семейного альбома
Борис Укачин с супругой и младшим сыном в 1980 году.



За письменным столом (фото В. Ащеулова)



Путешествие по Чуйскому тракту: с писателем Аржаном Адаровым и поэтом-переводчиком Ильей Фоняковым. 1970 г.



Борис Укачин со своим переводчиком Борисом Слуцким и его супругой Татьяной. (Коктебель 1973 г.)



Борис Укачин и Кайсын Кулиев в Дубултах под Ригой. 1976 год.



На съезде Союза писателей СССР
с Олжасом Сулейменовым и Яковом Козловским.



Путешествие по реке Катунь. 1974 г.
Борис Укачин и поэт-переводчик Александр Плитченко.



Писатель Василий Белов в гостях на алтайской земле.



Автор со своими спонсорами
Олегом Ивановичем Воробьевым и Ольгой Петровной Макутынович.
г. Горно-Алтайск, 2000 г.



В кругу семьи после вручения медали А. С. Пушкина.
1999 год.

ровом лесу. Совсем еще юный инженер, неженатый. Как говорят алтайцы, — пламя в глазах, а в груди неумемная сила. Только пусти — все сможет! Разве забыть человеку время, когда был он неукротимой энергией?

А где та горестная и сладкая боль, которая зовется любовью? Не зря говорят в народе, что любовь ослепляет...

Когда Эмиль заканчивал институт, девушки особенно привлекали его. Сколько интересных знакомств! И алтайки, и русские, и все — молодые, красивые. А вот насчет любви... или там семьи...

Ведь не собирался молодой инженер всю жизнь проходить холостым...

Сказать правду — Эмиль долго присматривался. Много было сомнений, много вопросов. Жениться на русской — как на это посмотрит мать? А если она не поймет его матери? Примечал прихорошенькую алтаечку и вдруг обнаруживал, что ноги у нее кривоваты. Или с ним рядом выглядела смешно из-за малого роста. Еще натыкался на такое препятствие: выяснилось, что девушка из одного с ним рода. У алтайцев до сих пор позором считается, если женится парень из рода кыпчак например, на девушке из того же рода ("тодошу нельзя на тодошке жениться, майману не полагается брать в жены из древнего рода майман!")

Так он долго сновал и мелькал среди девушек. А женился внезапно. Оказалась она ни русская, ни алтайка, а кайлычка, то есть — метиска. Бабушка по линии матери была русской, дедушка алтайцем отец не то хакас, не то тувинец — попробуй тут определить национальность. Теперь такое, конечно, нередко. Важно одно: родина девушки — Горный Алтай.

В то лето Эмиль провожал приятеля в дальний путь ранним утром с маленькой автостанции и возвращался домой взбаламученным. Тополя упирались вершинами в небесную голубизну, зеленое их шуршанье проникало в него знакомой песней. Насвистывая, шел он утренней улицей, впереди шагала девушка, одетая странно — в латаную-перелатаную фуфайку и шелковый платочек на голове. Никогда ее прежде Эмиль не видел.

В то время он не умел пройти мимо девушки, не оглядев ее, не задев. И просто так, шутки ради, произнес, поравнявшись:

— Чем одной идти, давайте рядом шагать. Из-под платочка, надвинутого на брови, сверкнули две зеленые звездочки:

— А я не гоню вас. Раз идем в одном направлении — шагайте!

— У алтайского народа есть пословица — ухмыльнулся Эмиль косясь на ее фуфайку? — Под старым чепраком может оказаться отличный аргамак...

— ... А под старой шубой настоящий мужчина! — неожиданно по-алтайски закончила пословицу его спутница и засмеялась.

— Это уже интересно! Вы знаете наш язык?

Она будто не заметила его удивления. Он стал мобилизовать силы:

— Глядя на вас, мне эту древнюю мудрость хочется переиначить.

— А вы разве поэт?

— Я всего лишь инженер.

— Ну, попробуйте!

— Насчет старой шубы, под которой может оказаться настоящий мужчина, — как вы сказали! — это мне нравится, — улыбался Эмиль. — Но когда я услышал ваш голос, мне подумалось так: у чистой речки, что течет подо льдом, луноподобный звон!..

Девушка засмеялась действительно звонким и глубоким смехом и взглянула на веселого парня. Эмиль тоже посмотрел на нее.

Посмотрел — и растерялся, и улыбнулся уже смущенно и радостно, точно само это летнее утро. Что за глаза! Никогда он таких не встречал. Уж не оттого ли, что небо в это едва пробудившееся утро так молодо и чисто? Возможно, это оно и нежные краски утренней земли отражались в ее глазах — огромных, зеленовато-голубых! Сквозь легкий прозрачный туман зелени плясали, искрились огоньки — огоньки и заморозили Эмиля.

— Откуда и куда вы в такую рань? — спросил он.

— Провожала подружку.

— Подружку или дружка? — уточнил, не сознавая ревнивой нотки, Подругу в Бийск проводила. А вы? — Она осталась и окинула его взглядом от копны черных волос до ботинок.

— А я ... я приятеля — Эмиль не мог удержать счастливой улыбки.

Так они сделали шаг навстречу друг другу. Дойдя до перекрестка и уже прощаясь, она задала вопрос, который первый возникает при знакомстве:

— Забыла спросить, как ваше имя?

— Эмиль. Эмиль Ботошев. А ваше?

— Красивое имя, — ответила она спокойно.

— А я? Я сам?

— У, задавака! — зазвенев смехом, она хотела двинуться, но Эмиль остановил.

— Вы не сказали, как вас зовут.

— Инга... Инга Уксегешева. Библиотекарь.

“Если мое красивое, то твое — странное” — проговорил Эмиль уже вслед уходящей девушке, напялившей на себя такую, несоответствующую ее имени, фуфайку.

Вечером он решил во что бы то ни стало розыскать ее — и розыскал, обзвонив библиотеки.

Перед тем, как пойти в кино, они вместе поели в единственной столовой их городка, зажатого горами, гуляли в сквере, где росли голубоватые ели, пихты и даже кедры, которые еще не плодоносили. Теперь он еле узнавал ее в зеленом крепдешиновом платье в цвет глаз, — по стройной спине друг за другом бежали зеленые пуговицы. Она дышала свежестью и нетронутостью. Только в углах большого рта держалась холодноватая улыбка, но Эмиль ее не воспринял.

За этой встречей последовали другие. Зеленые искорки падали в сердце Эмиля, горели там, кололи и жгли, то угасая, то опять разгораясь, наполняя его нетерпением.

В один из таких воскресных дней они загорали возле шустрого ручья, бегущего по ложбине горы, названной по-русски Алиментной. Сверкало солнце, и на зеленых хребтах куковали кукушки. Оттого травы и леса зеленели сильнее, цветы цвели краше, а парус синего неба шире раздувался над их головами. Рядом с Эмилем лежало красивое загорелое девичье тело. На солнце лоснились округлые икры, де-

лая такими пленительными длинными ногами. Нежно золотистые пальцы рыбками плавали в черных густых волосах Эмиля. Он закрывал глаза, уносясь почему-то в детство. У матери были такие же мягкие и теплые пальцы...

— Моя мама живет в деревне, одна, — сказал он Инге. — Когда мы поженимся и получим квартиру, мы привезем ее, ладно? Так он сделал ей предложение. Она помолчала.

— А кем она работает? — спросила.

— Учительницей была. Теперь на пенсии.

— Слушай, она, оказывается, интеллигентная женщина! — воскликнула Инга. — А я почему-то думала, что она у тебя чабанка или доярка. Ты знаешь, и моя мама учительница.

— Как ты думаешь, Инга, она будет жить с нами? — гнул он свое.

— Надо сперва получить квартиру, — не без лукавства проронила она, и таким образом он получал ее согласие.

И уже всерьез рассказал, что мать — человек заслуженный, тридцать лет проработала в школе и даже имеет орден “Знак почета”

— Это уже судьба! Моя тоже имеет орден... — Нагнувшись над Эмилем, Инга долго целовала его.

— Только мы не похожи, — сказал Эмиль, глядя прямые длинные волосы Инги. — Я единственный сын, а ты — четвертая дочь в семье, у тебя есть отец, а мой... мой умер. Она спросила, — Как?

— Об этом лучше не думать. Был председателем колхоза, попал вместе со своим шофером в аварию и — все...

— А мама? Одна осталась, не выходила больше замуж?

— Одна, — Эмиль отвечал нехотя. — Она очень страдала... И очень мучилась, стараясь выучить меня, иначе бы я... он хотел сказать что-то, но умолк на полуслове.

Вероятно, хотел рассказать о первой телеграмме матери, которую послал из Барнаула. Он приехал сдавать в политехнический институт и сразу же срезался на экзамене по русскому языку. “Не поступил, возвращаюсь домой”, — телеграфировал он. Эртечи Эркеевна, мать Эмиля в тот же день прилетела. Поговорила с преподавателями, все выяснила, даже к ректору заходила. И сдавать разрешили... А мать не уехала, доставала учебники, куда-то ходила, бегала, встречалась с начальством. Заново сдал и русский, вер-

нее — переписал свое же сочинение... И когда учился в институте, мать частенько приезжала в Барнаул, по-прежнему вела с кем-то переговоры и, кажется, дарила какие-то вещички. Он долго молчал и думал о матери...

В тот день они загорали в логу на берегу шустренького ручья на горе с шутивым названием Алиментная, пока не появились на небе первые глазастые звезды. Тогда развели костер, жарили мясо, брызгая в синее небо, открывали шампанское и бегали наперегонки, скрываясь за деревьями и кустами.

Запрокинув голову в теплое небо, Эмиль показал Инге две прильнувшие друг к другу звездочки:

— Во-он, видишь, может, такие же влюбленные, а?

— Что же они — живые или люди?

— А как же? — воскликнул Эмиль без тени сомнения. — Посмотри, какие молодые, лучистые, какие беспокойные и красивые!

— А что, если и вправду на какой-то звезде такие же люди живут? — Инга тоже запрокинула голову, — длинные волосы водопадом стекали на землю.

Эмиль вдруг закричал.

— Небо! Ты видишь мою звездочку, видишь? — Он схватил Ингу на руки, поднял, прижал к себе, беспорядочно говоря — Инга, Инга моя, у тебя глаза — два зеленых моря, — и целовал в высокий открытый лоб, в щеки, в глаза, в губы.

— Пусти, Эмиль, пусти, — она била ногами, а сама прижималась теснее, жаром дыша ему в шею. Ее шепот и голос исходили, казалось, из глубины его существа.

— Инга, Инга... — задышался Эмиль.

... Немало в жизни человека незабываемых дней. Есть они и у Эмиля Ботошева. День, когда закончил десятилетку и получил аттестат, когда поступил в институт, стал студентом и когда выдали диплом инженера, день встречи с Ингой, день свадьбы. А разве забудешь день, в который родился сын-первенец?

В честь отца Эмиль первенцу своему дал имя Эдиски. Инга была согласна. Так и записали в свидетельстве о рождении. Теперь Инга почему-то называет сына не Эдиски, а Эриком. Эмиль поначалу противился, но постепенно то ли

потерял надежду переспорить жену, то ли привык — стал вместе с Ингой звать сына Эриком. А прежнее имя оставалось лишь в метриках. Вот так, очевидно, забываются и добрые дела человеческие, если можно позабыть главное — имя человека.

Как только родился Эдиски, Эмиль привез в город мать. А как же, разве не хватит места для матери, раз у них большая трехкомнатная квартира?

С первой пробы даже горький лук кажется сладок. Так и мать Эмиля, тетушка Эртечи, очень понравилась Инге. Мать мужа была аккуратной, хорошо готовила, мыла посуду — словом, делала все, что требовалось, по дому. Придут дети с работы, а все уже приготовлено. Эрик накормлен и вымыт, и спит, сопя носом или, ни в чем не нуждаясь, играет, баблется.

Инге спокойно — забыла, как моются в доме полы. Придет поест-попьет — и может снова отправляться — в кино с Эмилем или к близким, к знакомым.

И все же не скажешь, что все катилось легко и гладко, как на хорошем катке. Особенно, если в дом приезжали гости из деревни. В углах Ингиных губ проступала упрямая холодная улыбка, свидетельствуя о ее настроении.

Прошло время — и в глазах Инги, едва заслышит звонок у дверей, стали вспыхивать зловецкие огоньки. Грозные удары этих молний рикошетом попадали в тетушку Эртечи. Как только появлялись посторонние, Инга, не подумав даже поздороваться, поворачивалась к ним спиной и удалялась.

А для Эртечи прибытие людей — большая радость. Как же, надо расспросить, разузнать, что делается в деревне, какие новости, как поживают односельчане. Кто женился, кто выдал дочку замуж, кто умер, кто жив, кто пошел в школу, чему теперь учат, большие ли классы? Расспросов у нее довольно. Ведь жизнь на то и жизнь — не стоит на месте, — все движется, все меняется с каждым днем.

Однажды, когда деревенские гости, ночевав, поутру разошлись по делам, Инга сказала свекрови;

— Когда прекратится это нашествие?

— А куда им деваться, люди приходят к своим близким, к знакомым... — начала было тетушка Эртечи.

Но Инга прервала:

— Хватит! Мне это все надоело...

— А что же делать? — Эртечи вопросительно смотрела на невестку. Прикажешь, пришедших гостей выгонять?

— А вы о нашем Эрике думаете? — рассвирепевшая Инга глазами сверлила свекровь. — Вы разве не замечаете: спросишь, зачем приехали — "В больницу обследоваться", глядишь снова пришли и снова в больницу". — Инга прекрасно изображала людей, приехавших к ним из деревни. — А если заразят ребенка?.. И ты тоже хорош — напала она на мужа. — Не скажешь ничего, не прекратишь этот базар. Да еще куришь с ними, готов до утра сидеть и болтать,

Тяжело вздыхая, Эмиль не решался возражать жене. Минуло еще два года. Вырос и Эрик. Мальчик ходил теперь в садик. Во-первых, Эрика следовало воспитать человеком культурным, во-вторых — подготовить к школе. Не могла же Инга доверить это Эртечи.

Так-то оно так, конечно. Но тетушке Эртечи грустно одной в пустой квартире. Когда сын и невестка уходили на работу, она неторопясь, шла на базар или на единственную в городе площадь, в надежде встретить своих деревенских или просто алтайцев, приехавших из горных селений. Эртечи быстро находила с ними общий язык. Иногда приводила урядкой новых знакомых в квартиру сына, и опять они пили чай и беседовали. Но лишь до прихода с работы Эмиля и Инги...

Однажды сидели они вот так-то, пили чай, Эртечи расспрашивала своих деревенских гостей, как вдруг без времени явилась невестка и разоблачила ее наивную хитрость.

Увидев народ, Инга нахохлилась, надулась, встав на пороге.

— Фу, надымили! — сморщилась брезгливо. — Всю квартиру прокурили, дышать нечем!

Гости торопливо, с неловкостью, посмотрели на Эртечи. Но что Инге до их робости и смущения?

— Опять в больницу? Опять больные? Что за удивительный народ эти алтайцы, заболеют — и являются в чужой дом!

Эртечи не выдержала:

— Ты на кого изволишь кричать?.. Стыдно слушать...

— Моя квартира — не гостиница!

— Это не твоя квартира! — сама не сознавая, как вышло, тетушка Эртечи оборвала невестку. Это квартира моего сына!

— Вот ка-ак? — протянула Инга — значит, вашего сына?! — зеленые глаза ее посерели, с презрением приблизились к свекрови. — В таком случае, вот, что я вам скажу: уходите отсюда. Все уходите!

Гости Эртечи, испуганно и смущенно оглядываясь, встали, ушли.

А Инга продолжала атаку:

— Я ведь и вас вместе с сыном могу попросить отсюда! Не забываете, у меня ребенок, закон и право на моей стороне!..

Тоскливый страх поселился в груди Эртечи, как бы не распалась семья ее сына, как бы не разбежались дети. Возможно, Инга права, надо поберечь их единственного ребенка...

И деревенские больше не появлялись в доме. Если и заходили то по вине лишь Эмиля — он приводил. И были они, как Эмиль, — инженеры, председатели колхозов, директора совхозов — люди руководящие. И разговор между ними заходил о свечах зажигания, конденсаторах, ветровых стеклах и еще о каких-то неинтересных для Эртечи вещах. Какое дело до них, не она ведаёт этими штуками. Пусть говорят, раз интересно сыну.

И все больше Эртечи погружалась в одиночество. Она уже подумывала вернуться. Перекочевать в деревню, зажить самостоятельно. Только что скажут люди о детях, о ее единственном сыне? И так по селу шелестят разговорчики о дурном нраве невестки. Ладонью ведь всем не закроешь рот.

А к сыну Эртечи явилась не с пустыми руками. Дом продала, скот продала, так что если коснется — о деньгах говорить не будет.

И однажды ее посетила любопытная и хитрая мысль. можно было, пожалуй, поделиться ей с невесткой и с сыном. А главное — злых языков избежать. Мысль понравилась ей.

Когда вечером все собрались за ужином, Эртечи опустила на стол фарфоровую пиалу с горячим чаем и молвила:

— Дети, есть у меня одна интересная мысль.

— Что за мысль? — поднял голову Эмиль.

Он посмотрел на мать и поразился. До чего побелели и поредели ее волосы — голова от того стала маленькой. И вся она худенькая щупленькая. Чем больше лет, тем ниже ростом — словно в детство возвращалась.

— Как вы думаете, дети, что если, я куплю здесь где-нибудь дом? — Эртечи взяла в руки пиалу и, прихлебывая чай, поглядывала поверх нее на всех. И руки у нее худые, морщинистые, — косточки, покрытые тоненькой кожей. А на тыльной стороне маленьких ладоней бугрились синие вены.

— Купишь дом... что это значит? — Эмиль встревоженно посмотрел на Ингу.

Та хотела что-то сказать, но Эртечи опередила:

— То есть, как что значит?.. Посмотри на Эдиски, как он быстро растет. Ребенку фрукты нужны, разные ягоды, а у нас будет сад.

— Мне кажется — блестящая идея! — Сразу же согласилась Инга, и радостные искры заплескали в ее зеленых глазах. — У всех сады, Эмиль, огороды, а мы, чуть что, бежим на базар.

— Папа, купи сад! — обрадовался Эрик. — Давай купим сад! Я хочу, чтобы у нас были яблоки, и виктория! И виктория!..

— И тебе хорошо будет, — убеждала Эртечи. Целыми днями в душном кабинете сидишь. А если купим домик с небольшим садом, будете на выходной приезжать отдыхать.

— В самом деле, Эмиль, ведь это дача! — Инга летала, убирая со стола, унося посуду на кухню.

— Ур-ра, у нас будет дача! — Эрик вскочил, подбежал к отцу, обхватил за шею.

Волосы у Эрика черные, и весь он — вылитый отец, — видно, чистая кровь побеждает смешанную. Только глаза непонятно чьи — ни материнские, ни отцовские. Заглядывая в карие, веселые глазенки сына, Эмиль радостно подхватил:

— Ур-ра, у нас будет дача!

Так мать Эмиля купила дом с садом. Хотя и невелик садик, но груши, сливы и яблоньки росли в ней веселые. А раньше всего вызревала клубника — виктория, как тут на-

зывали. Крупна удавалась виктория, каждая ягода с большой палец Эмиля.

Все оборачивалось к лучшему. Инга перестала косо смотреть на мать мужа. Какие люди, из каких деревень приезжали к свекрови, кто ночевал у нее — Инге не было дела. Теперь это ее не касалось.

Осенью, когда каждый плод в саду наливался соком, тетушка Эртечи наполняла корзину ягодами и фруктами и шла к сыну. Это были счастливые ее дни. Она даже завела обычный поверх корзины, которую приносила, выкладывать три самых крупных красных спелых яблока.

— Это, Инга, тебе, — едва переступала порог, еще не пройдя тетушка Эртечи длинненьким подбородком кивала на самое красное яблоко, лежавшее сверху. — А вот это для Эрика, А где Эрик? Гуляет?.. А это — сыну своему принесла, Эмилю моему.

Летом Эмиль с Ингой часто уезжали на курорт и оставляли Эрика с бабушкой. Вот тогда для Эртечи наступал настоящий праздник.

— Нет дороже ребенка, которого породило твое собственное дитя — говаривала она и не забывала признаться заезжим гостям:

— Если хотите, я даже с Эмилем не была такой ласковой, Эрик тоже привык к бабушке и ласкался к ней. Бывало, разнежится, а она гладит его по спинке, гладит, — уютно и хорошо мальчишке под мягкой бабушкиной ладонью — не заметит, как и уснет.

Но и воли большой Эртечи внуку не давала, Не распускала, учила полоть и поливать гряды — он не отказывался.

Прошло еще два года, и тетушка Эртечи стала жаловаться на ноги.

— Болят, ноют постоянно, — говорила она, Эмиль не очень-то обращал внимания, Немолода мать, больше шестидесяти — пора и побаливать.

— А бабушка наша совсем не может ходить! — объявил однажды Эрик, вернувшись от Эртечи, — Я весь огород один поливал, бабушка только на крыльце сидела и говорила, что делать.

— Надо бы врачам показать, — сказала Инга. На другой день отправились к ней втроем. Эртечи они застали в по-

стели, осунувшуюся, побледневшую — было видно, что ее всерьез прихватило. А детей она все-таки поджидала. На круглом столе на белой плоской тарелке с зубчатыми краями красовались три больших красных яблока, при виде их у Эмиля защипало в носу, Инга воскликнула:

— А, бабушкины яблочки нас дожидаются! — Взяла одно, протянула мужу: — Это тебе, Эмиль, А это, краснощекое — Эрику, А вот это меня ждало, верно?

— Такая боль — не могу терпеть, не знаю, что делать, — тетушка Эртечи приподнялась, хотела погладить внука по голове, но тут же откинулась на подушку. — Скипятите-ка чайку, дети...

В тот же день Эртечи положили в больницу, Но месяц лечения не принес улучшения. Теперь ей требовалась ежедневная помощь. Что делать с больным человеком? Попросили одну студентку — из той деревни, где раньше жила Эртечи.

С тех пор, выполняя различные поручения матери Эмиля, к ним стала приходить Тамара. Хотя не была родной Тамара, и даже не училась у Эртечи, она относилась к ней внимательно. Низенькая, толстенная, круглощекая, — щеки вроде тех яблок, что росли в саду у Эртечи.

Однажды Тамара прибежала испуганная:

— Она даже подняться не может! Вчера я нагрела воды, вымыла ее в ванне...

— Эмиль, а если попробовать иглоукалывание? Я слышала в областной больнице начали делать, — пришло Инге на ум.

И тетушку Эртечи опять положили в больницу.

Однако болезнь не поддавалась, а Эртечи все просилась домой, и в больнице ее не стали задерживать. В это-то время и возник вопрос, кто будет за ней ухаживать, Тамара — девчонка молоденькая, совсем без опыта. Ведь надо не только приготовить и подать, но и постирать на больную, и вымыть ее. Еще от ученья отстанет. Да и кто обязан ходить за чужой матерью? Другое дело — была бы родственницей.

— А я не могу и не буду ухаживать за ней, — заявила Инга прямо.

— Как же мне быть? Ведь это же мать, — в глазах у Эмиля забились слезы. — Ну, подумай сама, куда ее деть?

— Устрой в дом престарелых, — сказала Инга безжалостно, это были такие слова.

— Как?! — Эмиль испуганно и пораженно смотрел на жену. — В какой дом? — Он, кажется, даже не знал и не слышал, что в их маленьком городе есть такой дом.

Не раз возникали болезненные разговоры, Из зеленых глаз Инги не раз катились слезы. Но согласия перевезти мать к ним она не давала. С языка ее не сходили слова о возможности обойтись тем домом. Она убеждала, что матери там будет гораздо лучше.

Что делать, выхода не было, Эмилю, в конце-концов, пришлось согласиться. Вот почему он ездил в дом, название которого трудно произнести...

III

Сегодня Эмилю Эдискиновичу открылась еще одна тайна человеческой жизни — может быть, из самых печальных и горьких.

Живет человек и не ведает, что порой бывает слепым. Течет жизнь, неудержимо несется, бурлят потоки ее, и трудно иной раз осознать происходящее, все ухватить.

То, что Эмиль увидел сегодня, слишком удалено от человеческих глаз. Если не коснулось лично тебя, никогда того не узнаешь. Про те потемки жизни не то что отдельные люди, целые коллективы не думают.

Эмиль столкнулся впервые. Кому они надобны, старики и старухи, утратившие счастье, здоровье, жизнь? Уж если собственным детям не нужны, то родственникам и подавно. Он с ужасом проникал в их положение, понимая, что кроме прошлого да казенной заботы они ничего не имеют. Ничего не осталось им, ничего.

...Как эти люди способны забыть мать и отца, сестер и братьев? Отчего так жесток, так холоден, бездушен человек? Где нежность и доброта — ведь в каждом живут они в детстве. Куда все исчезло? И одним из таких жестоких, черствых людей оказался он, Эмиль, единственный сын Эртечи!

А разве Эртечи, мать Эмиля, была плохим человеком? Ленивым или недобрым? Так за что же такое ей? Чтобы мучиться так и страдать так совеститься детей — зачем было родиться? Зачем родила и воспитала сына? Чужих воспи-

тывала и учила? Чему, для чего? Где те душевные слова, что вкладывала в них? На что пошли они? На что растрчено тепло ее сердца? Кому нужны были ее пристальность и участие? Чем все обернулось?

А Эмиль? Уж не деньги ли заслонили его чуткость и зоркость? Благополучие и положение, Уж не они ли сделали его глухим к боли матери, бессердечным? Вот, вот, оттого и не нужны ни кому нынче те, собранные под крышею того дома.

От отчаянных этих мыслей хотелось кричать, До хруста стиснув зубы, не открывая глаз от бегущей дороги, вцепившись в баранку и поддавшись всем телом вперед Эмиль Эдискинович возвращался домой.

И снова думал, кто же он и откуда берутся такие, живут для чего? "Где, где наши глаза? Такие прекрасные — зеленые, синие, черные! Молодые и острые? Слепцы! Мы, конечно, живем, но иные из нас давно уже мертвы. Ни боли, ни стыда... Ни нежности, ни доброты...

Поставив машину в гараж, Эмиль ворвался в квартиру, не раздеваясь и не снимая в прихожей ботинок, пролетел мимо удивленных жены и сына в комнату Эрика и стал там греметь, что-то переставлять, расшвыривать вещи, выкидывать в столовую. Он то появлялся, то исчезал, издавая проклятия.

Инга немедленно догадалась, что означает это, но все же крикнула:

— Ты что, свихнулся? Что случилось?

— Да, свихнулся! И ты уже ничего не сможешь поделаться! Свихнулся, ополоумел, сдурел!.. — Из-за косяка надвинулось свирепое лицо.

Таким Инга его никогда не видела. Глаза сузились, словно лезвие бритвы, он чиркал ими крест-накрест по красивому лицу Инги. Она невольно закрылась руками.

Эмиль вопил:

— Все, все мы слепые! Ослепли! А у них — ни детей, ни родных, никого!..

Инга, стянув с лица ладони, молча смотрела на мужа.

Эмиль тяжело дышал. Взглянув на растерянного мальчишку, сказал сердито:

— С завтрашнего дня, Эрик, ты будешь здесь жить вместе с бабушкой. Запомни!

Эрик робко посмотрел на мать.

— Запомни и не разговаривай!

Потом он направился в прихожую, чтобы раздеться. Но остановился и сказал еще, не обращаясь ни к кому определенно:

— С сегодняшнего дня в доме будет так, как я скажу. Кому не нравится — пусть уходит отсюда!..

... Жизнь — великое счастье. Жизнь — великий дар, данный человеку природой. Но что она преподнесет завтра, через год, через месяц, даже через час, знать никому не дано. Жизнь — это неожиданный поворот и неизвестность за тем поворотом...

Рано, около семи утра, а может и раньше, отчаянно зазвенел звонок в квартире Эмиля. Инга вскочила, накинула халат, побежала к двери.

На пороге стояла Тамара. Обычно румяное лицо ее было бесцветным. Глаза сухо блестели, и вся она мелко дрожала, будто вылезла из ледяной воды. Долго не могла выговорить ни слова, горло забил тяжелый ком страха.

— Что, что случилось? — внутри у Инги оборвалось что-то. Бабушка, да?!..

Тамара быстро-быстро кивала трясущимся круглым подбородком, потом, словно ее толкнули, упала лицом на грудь Инге. Трясаясь, она беззвучно и горько заплакала.

— Вечером было все хорошо, все нормально, — объясняла она сквозь слезы, — Потом, потом...

Эмиль слышал звонок и Тамарин голос, поднялся, подошел.

— Ведь в это время она всегда чаю просила, так уж было заведено, я привыкла — всегда свежий заваривала, — Тамара не замечала, что говорит много лишних слов, — Когда утром она чаю не попросила я подошла, смот... смот... смотрю — рука как-то странно... выпала из кровати... а глаза открыты, только... остановились.

... В доме Эртечи Эмиль рухнул, упал на грудь матери. Спина его содрогалась. Медленно и отчаянно он стучал кулаком о край железной кровати.

Инга стояла рядом и не могла ни плакать, ни говорить. Потом что-то вспомнила — что надо ей сделать — нагнулась, и длинные, золотистые пальцы ее прикрыли веки матери

Эмиля. Она опустилась на колени, положила голову с прямыми длинными волосами на спину мужа, и, раскачивая его, заплакала.

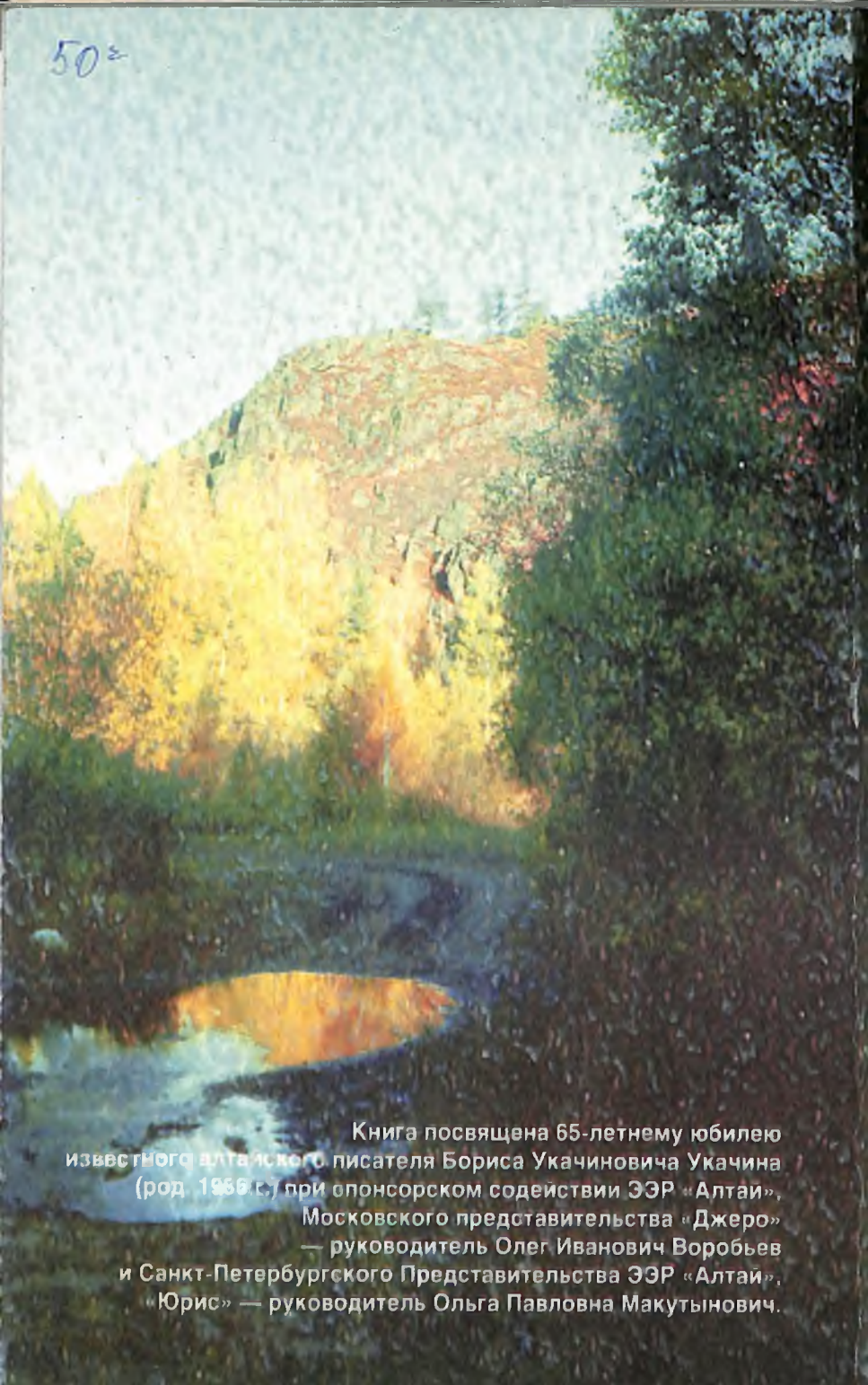
Когда минула первая суета, они пришли в себя и вдруг заметили, что на круглом столе неподалеку от кровати на белой плоской тарелке с зубчатыми краями лежат большие красные яблоки — не три, а четыре.

Четвертое тетушка Эртечи приготовила, видно, той, которая была столь добра и ласкова к ней все последнее мучительное время. О трех других гадать не приходилось — они предназначались, конечно, единственному сыну Эмилю, внуку Эрику-Эдиски и невестке Инге...

Так, не успев порадоваться новым весне и осени, в середине белой зимы умерла мать Эмиля тетушка Эртечи. Она, наверно, не хотела мешать своим детям и потому так торопливо удалилась на тот свет. Поторопилась, чтобы на этом свете пребывала в радости и счастье семья ее единственного сына...

Перевела с алт. Марина Назаренко
декабрь 1978 г.





Книга посвящена 65-летнему юбилею
известного алтайского писателя Бориса Укачиновича Укачина
(род. 1956 г.) при спонсорском содействии ЭЭР «Алтай»,
Московского представительства «Джеро»
— руководитель Олег Иванович Воробьев
и Санкт-Петербургского Представительства ЭЭР «Алтай»,
«Юрис» — руководитель Ольга Павловна Макутынович.